

Бэла Зиф



Провинция

*Посвящаю внуку
Артёму Гагарину*

Бэла Зиф



ПРОВИНЦИЯ

Пермь 2004

Перо Жар-птицы	5
Часть 1. Я побегу в те сосны	8
Над Даугавой	8
На улице Философской	15
Рыбный день	19
Потомки Ильича	22
Картины и картинки	24
«Я побегу в те сосны»	32
Расставание	38
Часть 2. Перекрёстки	48
Ленина, 52	48
Корни	55
Дом на Набережной	64
Невесты Вульфа Петровича	76
На углу	79
Ленина, 81а	82
Будни и праздники	94
В лодке	102
Часть 3. Разгуляй	107
Времена года	107
Разгуляйские тайны	114
Ленина, 7	121
Дары Лапшиных	127
Над логом	132
Кукуштан	136
Играйте, девочки!	144
Пожар	151
Из воспоминаний	159
«У «Лукоморья» — дуб зелёный»	159
Избиение младенцев	168
Пуп Перми	175

Бэла Лазаревна Зиф

ПРОВИНЦИЯ

Зиф Б. Л.

З 65 Провинция: Повесть. Из воспоминаний.— Издательско-полиграфический комплекс «Звезда», 2004.— 208 с.: ил. 24 с.

ISBN 5-88187-233-9

Книга Бэлы Зиф «Провинция» по своему жанру относится к художественной мемуаристике. Ее действие начинается в послевоенной Латвии, где с родителями, бывшими фронтовиками, живет героиня повести Бибка и откуда она навсегда уезжает на Урал и поселяется в семье родственников — династии старых пермских врачей, преданных своему делу и гражданскому долгу. Незнакомое для девочки пространство постепенно становится близким и любимым. В нем она учится улавливать тонкие связи природы и искусства, формируется как поэт и как личность, способная оценить наследственный дар — историю семьи и историю города, слившихся воедино.

В книге возникает большой временной срез: картины жизни дореволюционной и послереволюционной России, ее «провинций», среди которых особенно значимое место принадлежит Перми. Повествование насыщено разнообразием и глубиной бытовых и психологических характеристик, яркими образами, экспрессивными полотнами, рисующими смену времен года, меняющегося во времени городского ландшафта, незабываемыми судьбами героев, свершившимися на камских берегах.

Книга читается на одном дыхании. Она представляет интерес с художественной, исторической и краеведческой точек зрения и предназначена широкому кругу читателей.

Книга издана на средства гранта комитета
по культуре и искусству администрации г. Перми,
полученного автором на конкурсе культурных проектов
2004 года

Автор выражает искреннюю благодарность спонсорам, близким и друзьям, без которых издание книги «Провинция» было бы невозможным: НПО «Искра», Дмитрию Берлянду, Елене Зиф-Арабаджиевой, Ларисе Геллер, Леониду Куколеву.

Книга «Провинция» — первое прозаическое произведение Бэлы Зиф. Она с юности активно печаталась в коллективных сборниках. Один из них — «Княженика» — оказался предметом критических упоминаний на IV съезде советских писателей. Этого было достаточно, чтобы девятнадцатилетней поэтессе перекрыли все пути к публикациям.

С тех пор творчество Б. Зиф развивается вдалеке от пермской литературной тусовки. Разносторонность знаний и интересов в области искусства, стремление обрести и услышать свой голос диктуют ей определенные правила жизни. В годы вынужденного молчания она переориентирует поэтический талант и в 1990 году создает просветительный театр «Жар-птица», позднее получивший известность и за пределами Перми, ставит авторские синтез-спектакли, в которых опозитивирована история культуры и природы Прикамья, гастролирует, путешествует по заповедным местам, знакомится с новыми людьми, начинает работу над проектом «Пермистика в ликах и лицах» и снимает научно-популярные фильмы «Усолье Строгановское» и «Поэма о Камне», увлекается художественной фотографией и выставляет свои оригинальные натюрморты на Арт-салоне.

Только в 1995 году в Санкт-Петербурге выходит первая книга ее стихов, песен и поэм «Я выпускаю птиц», практически не замеченная пермской литературной средой. Лишь благодаря поразительной целеустремленности и независимости Б. Зиф обретает признание. В 2004 году она становится членом Союза российских писателей, и в этом же году ее имя внесено в Краеведческий календарь знаменательных и памятных дат Пермской области.

Выходу в свет книги «Провинция» в полном объеме предшествовали широкие публикации фрагментов в журналах «Уральская новь», «Пермский пресс-центр», «Филолог», «Провинциальный альманах» (Латвия), цикл радиоспектаклей для фондов Пермского областного радио, записанных в авторском исполнении.

Повесть «Провинция» симфонична, — она очень органично совмещает разнообразные дарования автора, в ней сильное эпическое основание, связанное с прозой, камерность и лиризм поэзии, музыкальность стиля и ритма, пластичность живописи, композиционная драматургичность. В каждом из этих начал Б. Зиф преуспела до того, как возник замысел книги и «Провинция» стала чудесным художественным синтезом, завершившим и подытожившим многолетний путь автора к своему жанру и своему стилю.

Книга задумана как автобиография, но она блестяще соединяет мемуары и художественную романистику, достоверный документ и очаровывающий вымысел, реалистическую конкретику и высокую одухотворенность. В этом смысле пространство книги широко и узко (история семьи и страны), объективно и лично (живые факты и их личное восприятие), открыто и закончено (конкретные сюжеты завершены, а жизнь бесконечна).

В центре повести «Провинция» — история интеллигентной семьи из династии врачей, пермская медицинская элита первой половины XX века,

среди которой такие известные имена, как М. Я. Бруштейн, педиатр, одна из первых женщин-врачей в России, профессор А. М. Фенелонов, хирург и общественный деятель, А. А. Зиф, нарком здравоохранения Таджикистана. Причастны к описанию жизни семьи их учителя и коллеги, известные пермские профессора: П. И. Пичугин, П. И. Чистяков, И. С. Богословский, В. Н. Парин, С. Ю. Минкин, Б. Н. Лебедевский. Круг друзей дома — научные работники, музыканты, инженеры, а в годы Великой Отечественной войны и обитатели знаменитой гостиницы-«семиэтажки» известные писатели, оказавшиеся в Перми во время эвакуации: Ю. Козаков, А. Штейн, С. Розенфельд, Ю. Тынянов. Через судьбы этих людей, через коллизии их жизни в повести возникает образ Времени.

На географической карте «Провинции» отмечены города, поселки, районы, местечки, в которых жили, учились, страдали и любили герои книги: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Киев, Бухара, Коканд, Душанбе, Рига, Пермь. Историко-географический ландшафт включает: Урал, Сибирь, Прибалтику, Украину, Молдавию, Румынию, крупным планом: Екабпилс, Лиелупе, Булдури, пермские точки: Голованово, Кукуштан, Усть-Качку, Верхнюю Курью, Разгуляй, Мотовилихи.

Заново осмысливая корневые связи, масштаб освоенного ее близкими пространства, главная героиня повести Бебка, постигающая мир через историю семьи и осознающая начальные духовные заповеди, повзрослев, скажет: «История семьи станет для меня своеобразным Священным Писанием, где были свои грешники и праведники, отринутые и возвышенные, свои правила жизни и ее главные законы. Прежде всего ценили долг, служение людям и верность себе».

Глазами Бебки увидена старая Пермь — как в гипотетических картинах, ею придуманных, представленных в воображении, так и во вполне реальных и узнаваемых. Взгляд девочки не исследовательский, он рождается из глубин детской души, пытающейся связать воедино картины прошлой жизни, из которой уже ушли многие близкие люди, и сегодняшние сцены и эпизоды, в которых участвует она сама. Так возникает тончайший сплав прошлого и нынешнего пермского пейзажа, где кинотеатр «Художественный» запомнился вместе с продавщицей газировки, «стоящей под зонтиком не первой свежести», и «французской булочкой с корочкой посередине», где «неподалеку от Козьего загона обреченно зависла подгнившая деревянная лестница», где у кафедрального собора радуется глаз «ослепительная воздушная площадка над Камой», где «песчаный берег у Дворцовой Слудки», связанный в мечтах девочки с поисками клада, «сверкал чайными серебряными бумажками и фантиками от конфет».

Дело в том, что Бебка — и это очень важно для понимания сути книги! — маленький поэт, и пространство, в котором она живет, опозитизировано ею. На ее долю выпали ранние тяготы жизни, ранние утраты и одиночество, и ее душа рисует мир собственной яркой краской. В этом мире много природы, любви, света, добра, и Бебка с талантом и вдохновением настоящего поэта творит из впечатляющих ее световых пятен жизни свою сокровенную сказку, помогающую ей радоваться и сохраняющую ей живую душу. Известный в Перми Дом на набережной (дом пароходчика Машкова) остался в памяти девочки своими «окнами-арками, похожими на глаза, застывшие в изумлении, затейливой лепниной, напоминающей видения садов Семирамиды, и каменными вазами в палисаднике» — «дом,

живший в ожидании бала», на котором могла появиться провинциальная Золушка и грозный градоначальник.

Легендарный пермский Разгуляй преобразуется в сознании девочки в выстроенный ею совершенный мир, и она становится в нем частью его стихии, то придавленная зимним морозом, то летящая на санках с рождественской ледяной горы, то переживающая счастье наступившего лета, когда берега над Камой «блаженствовали в зелени незабвенных садов» и когда «царствовала сирень и цветущие яблони, окутанные звуками гитар, мандолин, балалаек и поющих голосов». Этот мир живой, динамичный, слегка мифологизированный, но увиденный точно, не обыденно-линейный, а празднично-красочный. Поражаешься наблюдательности автора, тому, сколько деталей держит в голове память одного человека, и все это узнаваемо. Она вызывает острую ностальгию по старой Перми, великолепно прописан Разгуляй, но еще более важна какая-то мощная поэтическая струя, высочайшая степень энергетики «Провинции». Читая книгу, словно омываешься чистым весенним ливнем, не хочешь с ней расставаться и жаждешь продолжения. Она оставляет ощущение внутреннего света, ясности, жизненной ласки и написана любовью, сердечным теплом, человеческой глубиной. Очень тонко удалось автору показать рождение поэта в маленькой Бебке, ее взросление, рост ее души, ее таланта.

Книга Б. Зиф возвращает нас к старой русской речевой культуре. На фоне и в контексте сегодняшнего мародерского постмодерна, с его языковой расхристанностью и невнятицей, проза Б. Зиф — глоток свежего воздуха, родниковая чистота, возрождающая столь необходимые всем нам традиции русской классики с ее стилиевой взыскательностью и уважением к читателю. Мастерски владея мемуарным жанром, автор «Провинции» поднимает его до уровня высокой художественной прозы и, естественно, пополняет список русских писателей, среди которых такие имена, как Шмелев, Набоков, Осоргин, Тэффи, Бабель. Без преувеличения можно сказать, что книга Б. Зиф не только новое значимое слово в литературной летописи Прикамья, но и в современной литературе. Она высоко поднимает планку художественного разговора о жизни, о человеке в потоке времени.

Рассказывая о Бебке, о ее праздниках и горестях детства, о друзьях, разделивших их, о близких и незабываемых людях, стоявших у истока ее мира, о счастье жить, о поисках своей «дороги, уходящей вдаль», писательница поднимает огромную тему провинции как центра духовной культуры, как исторического перекрестка судеб России в разные периоды жизни, тему провинциальной интеллигенции как символа и носителя интеллектуального творчества, гражданской ответственности и человеческого достоинства.

«Провинция» — книга большого пути, знаменующая не только рождение Б. Зиф как прозаика, но и нового литературного явления, неозвученного духа Перми, где город занимает доселе неведомое измерение. Она по-хорошему ностальгическая и современная, традиционная и новаторская, пермская и столичная, способная еще более укрепить авторитет пермской прозы за пределами нашего края.

Н. Е. ВАСИЛЬЕВА,
доцент кафедры русской литературы
Пермского государственного университета.

*Цвет небесный, синий цвет,
Полюбил я с малых лет.
В детстве он мне означал
Синеву иных начал.*

Н. Бараташвили

Часть 1

Я побегу в те сосны

Над Даугавой

Е-каб-пилс! Приготовился, рванулся вперёд и полетел — над заливными лугами и травами, обрызганными росой, по которой прокладывают путь чёрные упругие угри, над Даугавой, окутанной густыми речными водорослями и полной коварных щук, над дубовыми рощами, зеленеющими листьями, вырезанными формочками для печенья, над палисадниками, в которых скоро начнут созревать вишня и смородина, разрастутся кусты кислого ребарбара, над маленькой церковью, над трикотажной фабрикой, пожарной каланчой, над площадью с впечатанными в неё косыми булыжниками.

Екабпилс — городок на берегу реки, в котором я живу на улице Бривибас. На русский язык её название переводится «свобода». Свободнее меня и не бывает! И счастливее!

Под окнами дома, выходящими во двор, небольшой огородик. Чуть дальше — сарай, в котором жила свинья. Последнее, что можно увидеть, — крыша Народного дома

с антеннами, похожими на сборище чертей. Они торчат там для того, чтобы я лучше ела.

«Вон, лезут!» — говорит няня Луша, заталкивая мне ложку с путрой в рот, пока я таращу глаза. Путра — молочный рисовый суп, который любят все латыши, а я терпеть не могу.

Милая Луша! Её лицо расцветает как сад. Её глаза так ласково глядят прямо в моё сердце. Узловатыми пальцами она поправляет единственную клетчатую шаль, вытирает уголки рта и начинает свой распев: «Ноня в баньку пойдём! Полотенчико возьмём, на головку платочек да тёпленькое. Мыльца-то Ляксандровна оставила ль земляничное?»

Ляксандровна — моя мама Евгения Александровна, а папу Луша называет Абрамыч. Я долго думала, что это его имя, лет до шести. Оказалось, что его зовут Лазарь Абрамович.

Вокруг меня собрались самые любимые люди, только видимся с ними редко. Мама — врач, приходит затемно, а папа — лесной техник, пропадает в своём лесу. Зато Луша всегда со мной. Она — моя, больше ничья. С ней хоть на край света!

В бане ждёт нас огромная бочка лимонада. Бочка старая, размякшая, с краном, из которого он льётся. У неё торгует тётя Голда, а когда не банный день, она продаёт пиво. Глаза у Голды грустные, а пальцы разбухли от воды, в которой она ополаскивает кружки.

Ради этого путешествия можно вытерпеть всё, даже преисподнюю парилки, где Луша меня не щадит: «А Бебочка будет чистенькая, ладненькая, так, что и Липка её не узнает!» — приговаривает няня, потихоньку похлёстывая веником и постепенно усиливая стежки.

Липка — маленькая дворняжка, моя одногодка, умница-разумница, подружившаяся с поповскими курами, которые живут в сарае у пожарной каланчи за нашим забором. Через его дырки она спокойно пролезает и каждый день кладёт на порог золотое яичко от соседок. Оно и вправду золотое! Пришлось моему папе покупать два десятка яиц и возвращать их попу.

Из баньки выход только один — через лимонадную бочку. Захлёбываясь, пью любимое зелье, падающее сразу куда-то вниз живота и надувающее его шариком. Сейчас взлечу!

Кособокая улица, по которой цокает кобыла одноглазого кучера Ёрки, оставляя за собой конские яблоки, разогрета солнцем. Луша держит меня за руку. Так будет всегда. Мы идём к ней в гости на чердак, где она живёт с дочерью Маней, её мужем и внучкой. Нужно подняться по узкой деревянной лестнице до крыши, перелезть через доски, неудобно перекрывшие вход, и только тогда откроется нянино царство-государство, в котором затаилась отгороженная маленькая комната.

Ничего-то у неё нет, кроме свиного сала, которым поделился папа, муки, которую купила мама на две семьи, да варенья: земляничного, черничного, брусничного, клюквенного, из ягод, собранных в латгальских лесах и на болотах.

Сквозь брёвна чердака струится дневной свет, освещая маленькую иконку в углу. Луша заводит жидкое тесто для блинов, ставит сковородку.

«В церковь тебя отведу ноне — креститься давно пора! — говорит она, и в голосе её звучат непривычные железные нотки. — С нехристями твоими и до греха недалеко! Кто пожалеет, милая Бебочка, кто о твоей душень-

ке золотой подумает? Будешь счастливая и меня помянешь добрым словом!»

Лушенька! Ну какая мне жизнь без тебя! Хоть летом, хоть зимой — заберусь под крылышко, две косички твои расплету и намотаю на пальцы, чтобы от меня не ушла. И ничего не страшно. Даже пугающий гул реки, ударенной ледоходом.

Мы живём в квартале от неё. Высокий берег с проступающими на камнях следами изумрудных водорослей и чёрного ила покрыт разбросанными сетями, похожими на горки осыпавшейся рыбьей чешуи. Из каждого проулка видна Даугава, перевёрнутые на берег и покачивающиеся на волнах лодки. Давно отзвучали громы ледохода, поднялась вода. Острова проступают пятнами, плаваясь на солнце днём и потихоньку остывая к вечеру.

Церковь окружена низенькой каменной оградой. В пределах церковного сада переговариваются друг с другом гроздья сирени. В каждой из них стучат молоточками маленькие сердца. И моё сердце стучит в такт с ними. Луша строго оглядывает меня: «В Божье царство идём, в райский сад! Сама плодов не рви, а что дадут — прими!»

В церкви душно и вкусно, словно капнули на язык горячий сладкий сироп. Оставляя меня, няня подходит к невысокому мужчине с большой бородой, одетому в царскую одежду. Меня словно сковали: не могу и пальцем пошевелить.

Всё свершается как во сне... Дёрнули за ниточку — я вытянула кисти рук, на которые кто-то наносит таинственные знаки. Дёрнули ещё раз — и я открываю рот, впуская в себя струйку ароматного напитка.

Няня словно растворилась в отблесках света, льющегося со всех сторон. Очнувшись, я пытаюсь найти её гла-

зами и в дверях вижу маму, чуть-чуть подавшауюся вперёд, как будто она хочет дотянуться до меня и выдернуть из этого сада, как цветок, с корнем.

По дороге домой мама плачет, а Луша молчит. «Ты что, хочешь, чтобы меня уволили, чтобы мы все с голоду умерли? Ведь Макс так мало зарабатывает!»

Максом зовут моего папу дома. У папы много имён, а толку мало, как говорят все знакомые. Больше всего папа любит детей и собак, и ещё печёную картошку. Особенно когда мама на дежурстве. В гостиной, за уютным столом, собираются все мои друзья: Нонка, Марик, Додик и Соня-десятиклассница, репетирующая с нами домашний спектакль. Наевшись картошки, все мы похожи на чертей с антенны Народного дома. Липка сидит под столом — грызёт кости. И это, пожалуй, лучшее время в моей жизни.

Но неожиданно возвращается мама. Её дежурство отменили. В комнату врывается голос, похожий на сирену «скорой помощи»: «Макс! Ты отравил ребёнка!»

Она ошибается. Не так-то легко меня отравить, тем более сейчас, когда я, как говорит Луша, «крещёная». Меня теперь Бог спасает!

Всё это происходит накануне праздника Лиго, который ждут наш городок и река. В эту ночь Даугава полна тайн...

Ближе к вечеру привозят на телегах пивные бочки, осторожно скатывая и погружая их в лодки, уплывающие на острова. Ровно в полночь зазвонят колокола, терпкие струи ударят из-под тугих пробок, загорятся костры, которые одолеют парни в венках из дубовых листьев, оставив огонь под ногами, и поплывут песни, рождённые на древних берегах. А после хмельной ночи,

в утреннем тумане, лодки вернутся назад, впечатаются в прибрежный ил. Зазвучат обрывки смеха, латышская речь с её цокающими согласными и переливающимися гласными. Кого-то поддержат и доведут до дома. Бочки погрузят на телеги и увезут неведомо куда. Словно и не было праздника...

Вернётся мама с ночного дежурства и сядет пить чай. Она будет пить его большими глотками, потом глотками поменьше, но с таким же упоением. От мамы пахнет лекарством. Её прекрасные глаза печальны. Моя мама — красавица. Так говорят все. Но я редко вижу её. И чаще — усталой и недовольной. Она приветлива с теми, кого встречает на улице, кто заходит в наш дом. А на меня смотрит с ожиданием чего-то непредсказуемого.

Я — это вылитый отец, ребёнок с фантазиями, да ещё с какими! Непослушный, бесшабашный, к тому же постоянно болеющий простудами.

Я люблю маму — сажусь к ней на колени у разгорающегося в печке огня, трогаю её полные руки и спрашиваю: «Там чай?» «Ну да», — говорит мама и смеётся.

Мама из другого мира, который называется «Молотов», и занесло её сюда из-за войны. Пока я ещё многого не знаю, знаю только, что её ранили и что папа забрал маму из военного госпиталя в Москве, когда она начала ходить на костылях.

Мама похожа на птицу, которая никак не может найти себе пристанище. Луша её жалеет, а папа часто бывает пьяным, потому что любит безответно.

Ну при чём тут моя жизнь? Дома уютно, когда пусто. Я раскрываю книжный шкаф, в котором лежит любимый «Бова-кузнец». На каждой странице нарисован огонь, только он разный, и богатырь Бова, кующий мечи и коль-

чуги, прекрасный и сильный. Таких силачей я не видела никогда в жизни!

А что, если отодвинуть дубовое трюмо? Сзади оно прицеплено на крюк, обмотанный верёвкой. Двигаю вправо, потом влево. Трудно, не поддаётся! Ещё разок! И вдруг трюмо, покачнувшись, начинает падать! Перебегая, я стараюсь удержать зеркало руками, но оно обрушивается на меня всей своей массой. Грохот, стук, крики! Меня извлекают из-под осколков, поранивших кончики пальцев на руках. Такого Екабилс ещё не видел! «Не ребёнок, а Геррак!» — говорит наш знакомый Давид Ротбарт, редактор местной газеты.

И всё это произошло только потому, что моя любимая Луша нянчит нового внука, вместо неё у нас появилась Алвина. Она без конца завывает: «Вай, вай, галва сап!» Конечно, если болит голова, тут уж не до ребёнка... Да и где ей со мной справиться!

Зимой попроще — холодно. Алвина следит за тем, чтобы я хорошо оделась, проверяет все крючки и шнурки, подаёт с печки сухие валенки. Во дворе мороз, ребят не видно. Даже Шурки, живущего напротив, у которого ноги колесом. (Мы всегда угощаем друг друга всем, что попадётся в ладошки.)

Даугаву сковало льдом. Над ней низкое сизое небо. Спускаюсь со скользкого берега, раскатанного санками, и вижу Шурку, стоящего на коньках неподалёку от проруби: «Не подходи, провалишься!»

Ну зачем он это сказал? А если проверить?..

Вода доходит до подбородка. Я ещё не всё поняла. И заревели в голос водяной и русалки, которыми пугала меня Луша, отмаливая у реки! Начинаю медленно двигаться к берегу. Тонкий лёд ломается от натиска груди,

упрятанной в шубу. На губы падает что-то солёное. Это кровь, стекающая с разбитого лба. Удаётся выбраться на берег, на который выплёскиваются ледяные струи, падающие с одежды. Я реву.

В счастливом январе выхожу из Даугавы, живая и невредимая. С ужасом смотрит на меня кто-то из встречных. Дома Алвина хватается за сердце. Единственное сухое место — это голова.

На улице Философской

Приятелей у меня полно! И все живут далеко друг от друга. Вот и хожу в гости! На улице мороз. Сверкает снег у крыльца, весь в алую крапинку от следов китайки, расклёванной птицами.

За углом Бривибас — каменная лестница, ведущая к Даугаве. На ней я училась кататься на лыжах, потому и нос с горбинкой.

Прохожу мимо лестницы, спускаюсь ниже укатанной дороги, на заливные луга, спрятавшиеся под ледяную броню. Кое-где проталины, сквозь которые поднимается лёгкий пар от не успевшей остыть воды, слитой на трикотажной фабрике. Но самое интересное то, что тает под тонкой корочкой льда, переливается красными, желтыми, зелёными цветами — красителями. В них купались латышские платки с кистями, кофточки, плотные тканые юбки, на которые потом нашьют тесьму.

Путь лежит по цветным тропинкам. Под ними — живая палитра. Краски перетекают одна в другую и смешиваются, вспыхивая на солнце. А что, если выпустить

наружу? Вырываясь, они уже сами прокладывают путь по поверхности льда. Таких картин не рисовал никто!

Валенки отяжелели от впитавшейся воды, а ступни ног превратились в две ледяные приставки. Правда, Нонкин дом уже близко.

Нонка — мой приятель с Философской улицы. В детский сад он ходил всего один день. Слава богу, что у заведующей в кабинете оказалась моя мама, иначе его точно отправили бы в больницу.

Мама дружит с его родителями — тётей Аней и Борисом Марковичем. Тётя Аня огромная, как наша пожарная каланча, и всегда улыбается, а Борис Маркович маленький и задумчивый. Он — герой, воевал в Латышском стрелковом полку. Его расстреляли, а он всё равно остался жив.

Нонка — поздний ребенок, а причуды у него еще те! «Некогда мне тут с вами разговаривать, семью надо кормить, — сказал ребёнок воспитательнице, — пилить дрова, строить сарай. А недавно меня повысили. Слежу за тем, чтобы рабочие с промкомбината гвозди не растащили!» Оставляя мокрые следы на ступеньках лестницы, поднимаюсь к дверям. За ними что-то звенит и грохает — значит, Нонка обедает. «Смотри, кто пришёл! — говорит Борис Маркович. — Это же Бибка! Раздевайся и садись за стол». «А что это у тебя с ногами? — спрашивает тётя Аня. — Валенки хоть выжимай! Бедный ребенок, в такой мороз...»

Нонка сидит за столом на стуле с подставкой, розовый, как поросёнок, и смотрит на меня свысока. Рядом с ним стоит тарелка, полная каши, валяются вырезанные из бумаги фигурки и две крышки от кастрюль.

Срочно наливают таз горячей воды и безоговорочно отправляют в него мои ноги. Тепло разливается от ног к груди. Я мечтаю только об одном — о мороженых яблоках,

хранящихся в дальней кладовке. У нас в Екабпилсе ни у кого больше таких нет. Они тяжёлые и мокрые изнутри, а их кусочки тают на языке, как льдинки.

Хорошо у Гореликов! Окна выглядывают в зимний сад. Видны прутья вишни, продетые сквозь снег, как сквозь вату. Стволы и ветви яблонь покрыты ледяной коркой, под которой они пульсируют.

Другое дело весной, когда Даугава переливается через невысокий берег, ведущий к Нонкиному дому, и затопляет низину. Тогда дом Гореликов похож на кораблик — того и гляди уплывёт, и подобраться к нему можно только на лодке. Уже две весны наши друзья переезжали к нам до времени, пока не уйдёт вода.

Когда все уходят на работу, мы с Нонкой сразу зовём в гости друзей: Марика, Додку, Гришку, Геню, Лиду и Шурку. Для каждого из большого рижского буфета достаю трехлитровые банки варенья, кому уж что достанется. На столе — большая тарелка творога и столовая ложка. Распечатываем банки, кто на полу, кто на диване, и делаем себе вкусно, размешивая в них творог, а потом угощаем друг друга.

В комнату заглядывает Соня-десятиклассница. Она пришла на репетицию. К Новому году будет готов концерт. В акробатическом этюде Марик и Додик должны встать на одно колено и повернуться друг к другу лицом, а я — подняться, держа красный флажок над головой, и сказать: «Миру — мир!» Получается плохо, потому что я, как говорит мама, «упитанная». Но зато люблю танцевать. Надеваю на себя кокошник с лентами, подаренный папой к празднику Лиго, кофточку и юбку с заплетенными в круговую латышскими узорами и запеваю любимую песенку:

Утром, только солнце над рекой встаёт,
Звонко на дворе наш петушок поёт.
Петушок, погромче пой,
Разбуди меня с зарёй!

Подпрыгиваю, танцую, верчусь, несусь вокруг стола, через двери, на кухню, обратно в гостиную, потом в спальню, где Сонька вместе с Алвиной шьют занавес для концерта. Родители будут сидеть на диване, а мы выступать.

В прошлом году было так же. Соня репетировала с нами сказку «Кот, петух и лиса». Коту и лисице — Марику и мне — сшили меховые костюмчики из остатков старых шапок и шуб, а Шурке — петуху — пришили к рубашке и штанишкам настоящие цветные перья, сделали хохолок из жатой красной бумаги, в которую наряжают цветочные горшки. Из картона соорудили домик и раскрасили его. В домике вырезали окошко.

Всё шло как по маслу. Мы старались изо всех сил, радовали родителей. Последним должен был появиться кот — Марик, затаившийся до времени за дверью. Когда она открылась, вслед за Мариком полетел пугающий шёпот Сони: «Марик, ты хвост забыл!» Хвост на крючке должна была повесить к Марику Лида, помощница Сони.

И в этом году после концерта все сели за стол. Мама достала варенье. Уже испечён прекрасный торт, обмазанный взбитыми сливками и посыпанный сверху ягодками красной засахаренной смородины...

Зачерпнув варенья и вытащив ложку, мама с недоумением говорит: «Странная банка!» — и достаёт другую. «Макс, ты залезал в буфет?» — «Оставь в покое! Ты что? — искренне изумляется папа. — Это же не шкварки!»

Кто же больше всего в нашем доме любит варенье? Ответ на этот вопрос найти не так уж сложно. Мои соучастни-

ки приуныли. Утром Алвине поручено проверить все банки. «Ну что мне с тобой делать?» — взмолилась мама. Тогда она ещё не знала, что это будет продолжаться всю жизнь.

Рыбный день

От кафельной плиты, стоящей на кухне, пахнет вишневым киселем. Отмокают в ведре говяжьих ножки. Завтра — в воскресенье — будем делать холодец. В подоконники впечатаются глубокие тарелки и миски, низкие кастрюльки. Они затянутся сверху золотистыми прозрачными пленками, сквозь которые можно будет разглядеть самое главное в холодце — то, что внизу.

Папа любит вкусно поесть, а кто этого не любит в Екабпилсе? Иногда он возвращается из Риги с толстым портфелем, от которого разносится такой аромат, словно сам портфель побывал в коптильне. «Кусай, доца! Стремизка!» — радуется папа, рассыпая из него прямо на стол маленькую плоскую с шёлковой кожуркой рыбку, закатившую глаза.

По-русски папа говорит плохо, как ребёнок. Зато хорошо на идиш и латышском. С ним всегда весело и смешно, особенно когда я залезаю на его большой живот и барабаню от души.

Папа — хромым бесёнок! Каждый вечер он проверяет обувь и в правый ботинок поглубже забивает кусок ваты, потому что на войне потерял часть стопы. Война отняла у него почти всех. Первым — брата Давида, лётчика, погибшего в Испании. Мой дедушка застрелился, когда фашисты входили в Ливаны, где жила папина семья, а бабушка повесилась. Жёну с маленьким сыном и ещё одним ребён-

ком в животе расстреляли вместе с другими. Наверное, поэтому Макс так меня любит и всегда угощает самым вкусным.

«Мнямоны!» — дразнится он. Так я просила есть, когда была маленькой. В тарелке его очередная фантазия, ведь он лучший повар на Бривибас, которому всё несут с улицы. В ней плавают кусочки чего-то круглого, одетого сверху в чёрную кожицу, похожие на нарезанный палец от перчатки, окруженные приобретшим фиолетовый оттенок луком. Это — угорь, которого по росе поймал рыбак Гайлис, а папа отварил, капнув в отвар немного уксуса. Несмотря на внешний вид, мясо угря нежное и без косточек. Говорят — деликатес!

Лицо папы дрожит от нетерпения. Сегодняшний праздник только для нас двоих. А третья — Луша, зашедшая по просьбе мамы присмотреть за домом, — Алвина заболела. Няня всматривается в тарелки, и все веснушки на её лице вздрагивают. «Абрамыч! Ты никак дитё змеёй накормил?»

Змеёй?! А мне сказал — рыба... С полным ртом высказываю из-за стола и слышу папино, обращённое к Луше: «Оставь в покое! Не хочес сама — ешь холодец!»

И хоть мне нехорошо, вспоминаю: ведь мы сегодня идём на футбол!

На футбольном поле напротив друг друга стоят четыре длинные скамейки. Кого только здесь не увидишь! Весёлого силача мясника Ротбарта, шофёра «скорой помощи» Аватиса, похожего на величественного рыцаря Лачплесиса, торговца лотерейными билетами старика Эпштейна, цыгана Занку, недавно поселившегося на окраине города с собакой. Говорят, что он единственный из всего табора, чудом спасшийся от фашистов.

Футболисты — парни с промкомбината и трикотажной фабрики. На этом поле они играли в футбол ещё до войны. Но самое главное — Мяч, лежащий у ног капитана. Мяч — сам по себе, и похож на гигантский зрелый каштан. Попробуй сдвинь его! Оказывается, он лёгкий и может летать! Да ещё так высоко! Достаточно ударить по нему ногой. И первое, что он делает — приземляется в мои колени. Мяч — шероховатый и плотный, как будто состоящий из множества одежек, застегнутых на невидимые кнопки. С этого начинается матч.

«Отдай, девочка!» — просит футболист, подходя ко мне и улыбаясь. Но мы с Мячом еще не успели познакомиться. «Не отдам!» — весело отвечаю я и крепко прижимаю нежданного гостя к груди. «Отдай!» — говорит Макс и тихонько щиплет меня за щеку.

Но со мной никто не сговорится. И футболисту уже не до улыбок: «В Екабпилсе остался только один мяч». Становится тихо. Меня опутывают паутинки взглядов. «Отдай сейчас же!» — сердится папа и пытается выдернуть мяч из моих приросших к нему рук. Впервые в жизни он стягивает меня со скамейки вниз и звонко хлопает по ситцевому задку. Лечу по улице домой впереди него, горько всхлипывая и рыдая, запинаясь за все булыжники, — в Лушин подол. «Абрамыч, старый хрыч, ты что с дитём сотворил?» — «Сама расскажет», — мрачно отвечает отец, не глядя на меня.

У порога нас ждёт рыбак Гайлис. Он принёс свежую щуку. Слёзы высыхают на моих глазах. «Глянь, Бебочка, ох и в теле рыба, хвост-то помелом!» — приговаривает Луша. Щука пахнет водорослями. Она висит на крючке в руках у Гайлиса, и по ней словно пробегают маленькие молнии. Пятна на коже дергаются то вправо, то влево, ку-

сочки ила медленно сползают вниз и падают на землю. Она хочет что-то сказать мне или показать, открывая рот. Я смело засовываю в него палец. Хлоп! И словно сотни острых мелких иголок впиваются в него. Ни туда ни сюда! Допрыгалась!

«Придёт Евгена — убьёт!» — с ужасом говорит папа, приносит из дома большой нож и отделяет голову щуки от туловища. Я исхожу ором. Такой операции не делал у нас в Екабпилсе ни один хирург.

Потомки Ильича

У крылечка играет Липка с Шариком. Ворота на улицу раскрыты. По всему городу гуляет ветер, налетающий с Даугавы и ударяющийся о пустой сарай. Иногда он поворачивает вправо, за дом, и уносится к старым липам, окружающим огромную церковь, вход в которую заколочен железными щитами. Я сижу на лавочке и рассматриваю новую книжку. На обложке нарисован человек в фуражке и фуфайке, сидящий у костра, над которым подвешена кастрюля. Человек улыбается и очень приветливо смотрит на меня. Книжка называется «Ленин в Раз-ли-ве».

На первой странице — шалаш, в котором он живёт. Вот это да! Наш дом на ночь запирают, а у шалаша замка нет. Входи кто хочешь, делай что хочешь! Лечи домашних медведей, ставь им уколы. Можно и куклам, хотя я их терпеть не могу, уж очень они изнеженные. Можно приготовить еду на маленьких сковородках и в кастрюльках из детского набора и разложить её в крошечные тарелочки и блюдецки! Про индейцев я пока ничего не знаю.

Дома — никого, и на улице пусто. На Бривибас расцвели молодые липки, до них вполне можно дотянуться. Светлая мечта становится чёрным днём для деревьев, ветки которых идут на строительство шалаша. Основу для шалаша в виде буквы «л» делают из палок Марик и Шурка. А я, Лида и Додка кладём по бокам ветки. Пожить бы в нём, как Ленин, спрятаться бы ото всех! Но я у себя во дворе.

В воротах показывается папа. В руках у него петушки из леденцовой лавки, в которую время от времени мы бегаем наискосок через старую площадь. Если ставни открыты — значит, можно и зайти, чтобы разглядеть весь зоопарк, расположившийся на прилавке в стеклянных банках. Кого здесь только нет! Прозрачные желтые жирафы и свинки, оранжевые лисицы и совы, а красных курочек и петушков — в изобилии. Так бы и съела всех подряд! Не то что марципановую сову, которую на вокзале в Крустпилсе подарила мне мамина тётя Рашель из Молотова. Сова была жёлтого цвета, с голубыми глазами и раскрашенными фиолетовыми перьями. «Попробуй, Бебочка, это очень вкусно! — сказала тётя Рашель. — Попроси папу отрезать понемножку». «Сначала реши, с чего начнёшь!» — добавляет её муж Аркадий Лаврович, с которым тётя Рашель уезжает на взморье. Он ещё долго будет болтать мне из окна поезда ногой в белых штанах!..

По сравнению с живыми петушками сова какая-то твердокаменная, и есть её не хочется. Она простояла, как статуэтка, на рижском трюмо, пока не досталась Липке.

Интереснее всего то, что нашёл сам. Вот, например, рулоны фантиков, разбросанных во дворе конфетной фабрики, словно они никому не нужны. На одном из них —

кукла в красных ботинках с синим бантом на голове. На других — пчёлка, изо рта которой каплет мёд, две обнявшиеся гвоздики, красная и белая, синий самолёт с пилотом, машущим мне рукой. Эти сокровища можно унести в шалаш, разрезать фантики, завернуть в них скатанные шарики белого хлеба, обвалянные в сахарном песке, и кормить медведей, кукол, Липку с Шариком.

Мы забираемся в шалаш. Сквозь молодые листочки проглядывает солнце. Зеленый островок, приютивший нас, полон надежд. К шалашу подходит Макс и угощает мечтателей леденцами.

На следующий день в наши ворота заглядывает милиционер. «Кто дома?» Папа отрывается от обеда. «Шалаш!» — говорит милиционер, укоризненно глядя на него, забывшего о веселье.

«Как у Ленина в Разливе!» — кричу я, сидя на земле у дождевой бочки и загорая на солнышке. Милиционер пристально смотрит папе в лицо. «Придётся зайти!» — отчётливо произносит он.

На Бривибас стоят разнесчастные молодые липки. Папа будет платить штраф. Целое лето не видать мне мороженого за Народным домом, как своих ушей.

Картины и картинки

Хорошо у Даугавы! Посижу в одной лодке, запечатанной носом в песок, покачаюсь на другой, чуть позванивающей цепью, обмотанной вокруг троса, чтобы не уплыла далеко, поваляюсь на дне той, что поколачивает боком о коротенькие сходни, слившись с ними в одно колеблющееся и дробящееся отражение.

Два берега, два городка — Крустпилс и Екабпилс — соединяет пароходик. Маленькая плоть его затихает после заката, а целый день только и делает, что подрагивает, пульсирует, благоухает и наконец, выдавливая из себя гудок, похожий на фальшивый звук пионерского горна в руках новичка, превращает то, что за кормой, в бурно кипящее варево. Пускаясь в плавание, он разворачивается то к одному, то к другому берегу. Только алый флажок весело торчит над мачтой и всегда приветливо машет мне. Хочешь — посиди на палубе, полюбуйся, как остров летних праздников то остаётся позади, когда плывёшь от Екабпилса к Крустпилсу, а то возникает впереди как предчувствие счастья.

На берегу, чуть выше пристани, живёт Гриша Гофман, самый красивый мальчик в нашем городе. Около дома стоит железная ванна, в которой купают его маленькую сестру. Вот и сейчас Гришина мама, похожая на Мадонну, склонилась над девочкой. У крошки свежие щёчки — два благоухающих бутона, белые и немножко розовые, как у моей двоюродной сестры Сони из Риги, к которой меня иногда отвозят в гости на улицу Дзирнаву — Мельничную или на дачу в Лиелупе, где её семья живёт летом.

Сонька всем хороша, только ест очень плохо: у меня уже пусто в тарелке, а у неё всё покрылось льдом и не думает оттаивать — так и сидит с открытым ртом и глазами, похожими на огромный спелый крыжовник, смотрит на своего папу, дядю Лейзера. Он уже кипит как самовар и сам себя потихоньку успокаивает, видя Сонькин полный рот.

«Слушай, Эстер (в переводе с еврейского это значит «царица»)! Бежал по улице один Большой Собак, а перед ним — один ма-аленький лошадь. Собак был очень го-

лодный, хам — и съел маленький лошадь!» Сонька от восторга глотает. Вот так всегда — у дяди Лейзера кто-нибудь кого-нибудь обязательно съедает, иначе дело не двигается. Только один раз она бегала вокруг стола и орала, а Лейзер за ней с ремнём, пока не сбросили недоеденную яичницу и оба, поскользнувшись, не растянулись на полу.

Меня наказали из-за еды только один раз — когда мама отодрала ремнём валенки. Им было так больно, что крик слышали на другом конце Екабпилса. Но у Соньки, как и у меня, обычно всё заканчивается хорошо. Дядя Лейзер только и делает, что носит свою красавицу на руках и лишь иногда ставит на землю, когда мы гуляем втроём.

У оперного театра стоит маленький киоск. От него разливается такой аромат, словно он сам вышел из печки кондитера. За стеклом горкой лежат наши любимые конфеты «Коровка». Они деревенские, потому что варят их сельские жители и сдают в киоск. Одни из них тянутся так, что достают от Сонькиной ладошки до моей, и мы всё отодвигаемся друг от друга, пока сладкая рыжая тянучка не оборвётся, чтобы тогда то, что осталось, поскорее затолкать в рот (но это только если Лейзера нет с нами). Другие «Коровки» — сахарные — хрустят и потрескивают на зубах, обволакивают сладостью всё внутри, пока мы не оборвём от этого праздника и не сосчитаем фантики — кто съел больше.

Но есть то, что ещё вкуснее, — это трубочки с кремом! Наверное, их, кроме нас, едят только боги. Мы держим трубочки в руках, как свирели, звук которых никогда не известен: сливочная, шоколадная, с фруктовым кремом — они тают во рту, как звуки божественной гаммы, сыгранной лёгкими перстами на небесной арфе.

В парке, на каналах, окружающих театр, волшебным ожерельем плавают лебеди. Кое-где на воде проступает зелёная ряска, потягивает настоем замшелых берегов, упрянтанных до середины в воду, над которой возвышаются подставки лебединого туалета — каменные терраски. Лебеди белые и чёрные, но у всех красные носы. Наверное, они живут в этом огромном дворце и только днём выплывают в каналы, чтобы покрасоваться перед всеми, а в остальное время занимаются танцами — так нам сказал дядя Лейзер.

Недалеко от этого места — Старая Рига. Улочки такие узкие, что, говорят, когда-то люди, жившие здесь, выглядывая из окон, здоровались друг с другом за руку. Над Пороховой башней качается флюгер — ему всегда весело, когда дует ветер: вправо-влево, вправо-влево, не задерживается ни на минуту. Зато у Домского собора сразу становишься совсем маленькой. Собор задавил мостовую, и кажется, что из булыжников, над которыми поднялись каменные ступени, брызнет вода. Окна у него похожи на глаза великана, только очень узкие, словно он никак не может проснуться; и расположены они не так, как у нас на лице, а снизу вверх, как запущенные в небо стрелы. Наверное, так выглядят глаза дэвов из грузинских сказок, без которых я жить не могу, поэтому каждое утро перед завтраком мама читает мне хоть кусочек про их необыкновенную жизнь. Дэвы злые и добрые, а собор — величественный. В нём живёт Орган, и когда он играет, раздувая свои меха, через которые проходит воздух, даже своды собора содрогаются.

Заходим — Лейзер договорился... Какой здесь ледник! Настоящая пещера! В таком холоде жили древние люди, жгли костры, ели мясо после удачной охоты. Правда за ними никто не следил каждую минуту, чтобы

они ничего не трогали. Каменные пещеры в книжках нарисованы в горах, а собор строили люди. Не знаю, как залезали они на такую высоту. Вершина собора похожа на огромный заточенный карандаш, а свет льётся из цветных стёкол, разрисованных рыцарями и цветами.

«Только на минутку», — говорит дядя, и мы с Соней садимся на каменную лавку. От прикосновения к ней всё тело пронизывает дрожь. Нет, уж лучше пойти к базару за крестьянскими сосисками! На мне и Соне — шерстяные платья, зелёное и бордовое. Таких в Риге нет ни у кого, потому что их связала тётя Тамара — Сониная мама, мастерица на все руки. Приятно быть красиво одетыми, ведь всё-таки мы — девочки, и нужно следить за собой. Дядя Лейзер с удовольствием оглядывает нас. Идём к базару. Сейчас попробовать сосиски не удастся, а так бы хотелось скорее их сварить и проткнуть тонкую распаренную кожу, чтобы она треснула и взорвалась, как маленькая бомба, фонтанчиком обжигающей жидкости.

Возвращаемся назад, к подъезду Сониного дома, из которого всегда пахнет краской и раздаётся гул, словно какой-то исполин передвигает огромные железные предметы. Внизу — типография, но мы живём почти у неба, на пятом этаже. Из окна виден двор с расчерченными дорожками и сетками на высоких столбах. Иногда по нему бегают мальчики и девочки, но чаще он пустует. И слава богу! Иначе не поздоровилось бы маме, Тамаре и жене папиного брата Вале. Дело в том, что дядя Лейзер и папин брат Яша живут в одной квартире. Народу там полно, и все взрослые и дети — мои родственники — то целуются, то ссорятся. Только Тамара, Валя и моя мама всегда радуются встрече. Они из России, любят поболтать, почаёвничать и поесть любимую еду, особенно пельмени. Жаль,

некогда постряпать вместе, вот и покупают те, что в магазинах, — со свиным мясом.

Однажды, пока вода в кастрюльке закипала, приготовили тарелки, вилки, уксус, посадили нас с Сонькой на стулья с подставкой — и вдруг раздался звонок в дверь. Тётя Тамара вся переменялась в лице: «Лейзер пришёл!» Мама схватила кастрюлю с плиты — и всё, что в ней было, порадовало спортивную площадку за окном. Но не так-то просто оказалось одурить Лейзера! «Откуда хазер?» — гневно спросил он. Даже иметь дома свиное мясо — настоящее преступление для такого верующего человека, как Сонин папа. Но наши мамы сидели с невинными лицами, залив единственное вещественное доказательство — кастрюлю — холодной водой.

Вообще-то Лейзер — самый добрый человек на свете. Об этом знает вся Рига. Вот и сейчас раздался звонок в дверь — пришла Лайма Прусите. Слава богу, вовремя! Правда дядя, как и вся наша семья, всегда рад этой женщине и называет её «мама». Когда-то, ещё до войны, Лайма работала швейей в ателье Лейзера, который был лучшим портным в Риге. Когда фашисты вошли в город, его вместе с другими забрали в лагерь и заставили шить одежду. Он и не думал, что выживет. Чудом удалось бежать обратно в Ригу. Дядя постучался в дом Лаймы, стоящий на окраине. Сначала она скрывала нашего Лейзера в подвале, делилась с ним скудной едой. Поняв, что у соседей возникло подозрение и они могут донести, она перепрятала опасного гостя. За ним приехал с хутора её брат и среди бела дня увёз беднягу на телеге под мешками со старой одеждой и соломой. Сейчас Лайма — самый дорогой гость в доме на Дзирнаву. Жаль только, что живёт далеко — на хуторе за Ян-Елгавой.

Хутор — это такое место, где в подвалах полно припасов. Однажды мы с папой забрели к гостеприимным хозяевам. Случилось это, когда я промочила ноги в лесу, собирая малину, да и от голода мы чуть не умерли. Тогда-то наша телега и въехала в широко раскрытые ворота. Из конюшни с громким лаем вылетела маленькая собачка, а вслед за ней вышел пузатый хозяин, щёки которого были похожи на перезрелые помидоры. «Цвейке! Цвейке! Лаб ден!» — поздоровался папа, а у хозяина складка на лбу поползла вверх, и он улыбнулся. Оказалось, раньше он работал с Максом в лесу. Его жена, похожая на пчелу, размахивая крыльями вязаной шали, сразу полетела по двору к двери дома. Она вынесла большой ключ от кладовки. Ну разве можно было удержать меня, любопытную, от такого путешествия в недра?!

Стены подвала, сложенные из выпуклых круглых камней, напоминали огромные виноградины, переливающиеся в лучах света, проглядывающего сверху сквозь узкие оконца. На них висели окорока, тяжесть которых еле выдерживали верёвки; колбасы лоснились и чуть не лопались — до того туго были набиты мясной плотью цилиндрические кишки с просвечивающими в них выпуклыми кусочками чеснока; копчёная рыба, словно побывавшая под мощным прессом, висела вниз головой, пока не потеряв её окончательно; разбухшие старые бочки со слегка проржавевшими обручами еле удерживали массы солёной рыбы, объединившейся в единую семью. На полках стояли бесчисленные банки варенья с аккуратно проставленными годами счастливой варки на пожелтевших от времени бумажках в клетку и в линейку.

Много здесь было всего, зато не хватало главного — Водопада, как у папиного друга-мельника из Виесете. На

хуторе всё под ключом, а у Валдиса и дом-то никогда не закрывается. Домик стоит над маленьким озером, а напротив — мельница. Только колесо застыло — ветра нет. Мельница похожа на большую игрушку. Она стоит над Водопадом, шум от которого разносится по окрестностям. Бежим к нему с дочкой мельника Анитой, в руках у девушки — высокий стеклянный кувшин. Заглядываем вниз — вода кипит: хвосты, лапы, морды бешеных зверей накладываются друг на друга. А ведь это струи, переливающиеся на утреннем тёплом солнце. Сбоку Водопада — площадка, и такая удобная, что можно поднести к воде кувшин — и он мгновенно наполняется. Золотистые длинные косы Аниты распустились и опрокинулись над струями падающей воды, отражения скользят по её лицу, рукам, плечам и спутанным волосам.

В Риге нету ни хуторов, ни водопадов: дома огромные, людей много, знакомых — никого. Не то что у нас в Екабпилсе: только выйдешь из дома на Бривибас, и сразу встреча: старики Эпштейны пошли на «работу». Дядя Пиня торгует лотерейными билетами на одном углу улицы, а тётя Роза — на другом. Макс говорит, что они конкуренты. «Ох, до чего же надоели! Проходу не дают!» — «Макс, купите билетик», перейдёшь на другую сторону — «Макс, не обижайте, купите-таки билет!» Говорят, они вечером считают, кто больше продал и из-за этого ссорятся». Вот папа и дал семейке почитать «Конкурентов» Шолом Алейхема, только там муж и жена бубликами торговали. Обиделись... А на них никто не обижается, все только улыбаются, глядя на парочку, идущую под ручку: Пиня хромает на правую ногу, а Роза — на левую.

Посмеяться у нас в городке и правда есть над чем... Папу недавно пригласили на свадьбу, а на столе стояло

большое блюдо с холодцом. Стоило хозяйке выйти, как Макс спрятал его под пиджак. Вернулась — холодец исчез! «Боже мой, скоро молодые будут! Макс, вы не видели холодец?» — «Нет». Как только молодые вошли в дверь, холодец сразу оказался на столе. С моим папой не соскучишься — так говорят все. Когда он был молодым, чего только не проделывал!

Работал папа в Швеции, ещё при правителе Ульманисе — вместе с дедушкой и братьями сплавлял лес. Вернувшись из поездки, он всегда отправлялся отдохнуть в Ригу. На площади в Старом городе стояло кафе, где любили за чашечкой кофе посидеть и посплетничать немки — обязательно в спину прохожему что-нибудь скажут! Вот мой Макс и рассыпал на площади горох, размоченный в водке, который сразу склевали голуби, гулявшие по ней. Тогда-то и досталось дамским шляпкам — на них и обрушили захмелевшие птички свои «закрома». После этого в кафе на площади стали заседать молодые парни. Да, до такого мне, пожалуй, никогда не додуматься! Но у моих родных есть чему поучиться...

«Я побегу в те сосны»

Ступеньки вели в палисадник. После утреннего июльского дождя блаженствовали розовые червяки. Похрустывали под ногами осколки красного кирпича. За проволочной калиткой просыпался сосновый бор. Огибая его, изредка, спросонья, всхлипывали электрички, проносясь в сторону Булдури. Там-то и раскрывался чудесный базарчик!

Ничто не могло привести в смятение непоколебимую сметану, заранее разложенную по банкам с демонстра-

тивно застрявшей ложкой в одной из них. Творог, спрессовавшийся в марле, хранил свою обособленность, выдавливая из себя последние капельки сыворотки. На прилавках, ошеломляюще свежие, раскинулись пучки укропа и петрушки, а рядом с ними краснели, уже предназначенные в кисель, ножки ребарбара. Горки брусники, собранной в латгальских лесах, лоснились упругими бочками в ожидании перемен. В вёдрах таилась вишня, уже обнадёжившая своей спелостью дачные палисадники.

В центре пролежала дорожка гвоздик — алых и белых, кремовых и жёлтых, с красными и фиолетовыми подмалёвками на лепестках, ажурных и крахмальных, словно посыпанных сверху волшебными пряностями.

Сколько базарчиков на взморье — столько и цветных одежек, разбросанных по побережью!

Здесь, в Булдури, предел моих желаний — ослепительные в своей фантастической неподвижности глиняные копилки: огромные кошки, коты, собаки и свинки с дыркой в голове. Переночевав у ваятелей в чистых деревянных чуланчиках, они каждое утро сбегаются сюда. В их глазах, устремлённых мимо, есть что-то непостижимое для детского ума.

«Нравится?» — спрашивает старый латыш. Он берёт с прилавка копилку, садится на корточки и, глядя мне в лицо, говорит, подавая монетку: «Попробуй, опусти!»

У жизни есть дно. Время сжимается. Там, внутри копилки, оно совсем другое. А здесь всё переполнено, близко расположено, и дорога, ведущая через сосновый бор, обязательно приведёт меня в Лиелупе, где я живу на даче. Но копилка всё равно нужна, как некий сфинкс пустыни.

Папа обязательно скажет: «Зачем она тебе? Лучше купим кокошник с лентами и узором к празднику Лиго». Так я и знала!

Сосны уже сбросили последние капли дождя и начали обогреться под солнцем, овеванные крылышками радужных стрекоз. Налетавшись, они плотно прижимаются к стволам, переливаются, вспыхивают в просветах деревьев. Можно остановиться, глубоко вздохнуть, поднять голову и погрузиться в восходящий поток дыхания земли, устремлённый к вершинам.

По корням сосен бегают белки, мелькая хвостами и мордочками. Их прыжки и перелёты, немислимая эквилибристика пунктирами соединяют в одно целое смоляное, распаренное, шарообразное пекло. За моей спиной хлопает калитка. «Держи!» — кричит с порога двоюродная сестра Сонька и бросает каштан, который я не успеваю поймать. На голове у неё старая отцовская шляпа.

План созревает мгновенно. Снова хлопает калитка — мы убегаем в сосны.

Придерживая шляпу с двух сторон, медленно проводим ею снизу вверх по стволу дерева, пытаюсь снять стрекоз. Они же словно спаялись в перламутровый пласт, упираются, держатся из последних сил и наконец, со звоном отколовшись от «материка», падают в глубину шляпы. Наше сокровище мгновенно переносится на дачу и, потерявшее единство, рассаживается на шторах гостеприимными хозяевами.

Дальше начинается погоня за бабочками. Легче всего поймать капустницу и тех, что порхают над кустами шиповника. Хлоп — шляпа падает, бабочка в наших руках. И так до изнеможения.

Июльский рай затаился в комнате в ожидании Сонькиного папы. Дядя Лейзер приезжает из Риги на электричке. Он очень устал. Ставит на ступеньку портфель, снимает белые тапочки, с утра начищенные зубным порошком, медленно поднимается в комнаты, но вскоре возвращается. Подходит к бочке с дождевой водой, по поверхности которой прокладывают дорожки водомерки, зачерпывает ведром воду и с наслаждением выливает её на себя. «Господи боже мой, как хорошо!» — восклицает самый набожный еврей в Рижской синагоге. Лейзер фыркает, стряхивает воду с рук и в струйках, медленно сползающих по телу, отправляется за чётками.

В комнатах полутемно. Свет едва пробивается через плотные шторы. «Эстер! — кричит дядя Соньке (а это одно и то же). — Ты трогала чётки?» Сонька не отвечает. Её огромные круглые глаза на кукольном беломраморном лице застыли и с ужасом смотрят на меня. «Сейчас, — говорит она, — ещё секунда!»

Раздаётся резкий лязгающий звук. Лейзер стремительно раздвигает шторы, и тут в его грудь ударяет лесной прибор, скопище двигающихся, летающих, стрекозущих существ, затаившихся только до времени. «Господи боже мой! — кричит дядя. — Откуда?» Об этом знаем только мы, две девчонки, отравительницы домашнего очага и спокойствия.

Сбивая с себя крылья и спинки порхающего мира, мечущегося по комнате и устремлённого в другие пределы в поисках выхода, выбегая из дома, он на ходу хватается за ремень, висящий на самом видном месте.

А мы-то уже давно в сосняке! Бежим, спотыкаясь о корни деревьев, и хватаемся за животы. Смех сам выплёскивается, вываливается из нас.

Мне говорили строго:
 «В этой реке крокодилы...»
 Я подходила близко —
 В тине плавало небо,
 В тине плавало солнце
 И чистый янтарный песок.

Всё оживает... Песчаные дюны около речки Лиелупе, меняющие свои очертания, старый мост, нависший над рекой, отражённый в зелёных волнах и дробящийся на кусочки.

Мимо проплывает пароходик, несущий в дни отдыха звуки послевоенной губной гармошки, запах пива, смех мужчин и женщин, тающий на берегах, над которыми застыл дух водорослей, переливающихся на дне реки под свою музыку.

На моём жёлтом платице из душного атласа — аисты и пагоды. Купаться нельзя — ни в речке, ни в заливе, куда меня приводит за руку тётя Тамара. Она держит ручку коляски, в которой барахтается Сильва.

Солнца нет. Весь мир в дымке. Взморье отдыхает. Ноги утопают в прибрежных дюнах и наконец погружаются во влажный песок, на котором мгновенно исчезают маленькие следы. Сколько же здесь осколков и больших ракушек! Их острыми краями можно прокладывать дорожки.

Тётя Тамара зовёт нас назад, в дюны, подальше от прибоа. Сони́на мама — великанша с добрыми вишнёвыми глазами, а Лейзер уже немолодой и доходит ей только до пояса. Но они очень любят друг друга. Дядя спас Тамару от голода, когда она приехала в Ригу из Великих Лук после войны. Мой папа и все его родственники считают Лейзера святым человеком. А когда он женился на тёте Тамаре, ему никто в синагоге руки не подавал.

Лейзер хоть и страдал, но Тамару не бросил. И стал называть её Тамарита. Как говорит моя мама, она тоже «большой молодец», научилась готовить фаршированную рыбу и цимес и всё, что полагается на еврейских праздниках. А Сонька и Сильва у них — красавицы и царицы!

Я не такая, как они, — не очень-то красивая, в папу. Так все говорят. Встретят нас с мамой на улице и спрашивают: «А что это за девочка с вами? Ваша дочь? Ну, совсем на вас не похожа!» Ну что, я — крокодил, который живёт в Лиелупе? Нет! Я любимый папин ребёнок! Папа водит меня за Народный дом и покупает мороженое, которое мама категорически запрещает есть из-за ангин, разве что разогретое, вприкуску с чёрным хлебом и на блюдечке.

Мороженое продают в киоске на улице Бривибас в нашем городке Екабпилсе. Идешь к нему и никогда не знаешь — открыт он или нет. Мороженое с изюмом накладывают в хрустящий стаканчик круглой ложкой и всегда неровно, а потом обмазывают белой ароматной массой края вафельки. «Евгена, ни слова!» — говорит папа таинственным голосом.

А вот на даче мне мороженое не покупают никогда. Зато жалеют и любят, потому что мама лежит в больнице в Риге. Опять у неё плохо с позвоночником. Как говорит тётя Тамара: «Это всё война...» И папу я вижу редко. Он — по другую сторону взморья, на реке Даугаве, где стоит наш дом и где он работает в лесу.

Вот так я и живу среди сосен, реки и взморья целое лето, на радость и обалдение своим родственникам, которые не знают, чего им ждать. Наверное, я безнадежна. Так сказала тётя Тамара, оставившая на меня крошку Сильву, после того как сходила на базар.

Сначала всё было хорошо. Сильва улыбалась, что-то лялякала... Но так продолжалось недолго. Описавшись, она стала плакать, а потом и орать. Запах, исходящий от неё, ухудшился, и даже я, не имея опыта материнства, понимала, что дело плохо. С трудом подняв таз с холодной водой, я водрузила его на стол и, напрягшись вновь, положила в него Сильву, закутанную в пелёнки, для отмокания.

Девать меня было некуда. Приходилось терпеть.

Я побегу в ту память,
Где сосны корнями наружу,
Где молодые стрекозы
Бруснику смолой запивают!

Я побегу в те сосны
И крикну: «Падайте, шишки!»
И умную рыжую белку
Поймаю за длинный хвост!

Расставание

На улицах развешаны чёрные флаги. Дома всё время слушают радио. Голос у диктора низкий и тяжёлый. Играет грустная музыка. Умер Сталин, и мне завязали чёрный бант, который сразу расплющился на макушке. Все молчат и плачут, а я ем яблочное повидло. Повидло стоит на тарелке, как дом без окон, — большой квадрат. Отрезаю от него тонкие пластинки, и каждая по отдельности становится прозрачной на свету.

На столе в гостиной меня ждёт книжка с цветными картинками. На одной из них девочка в зимнем саду. Изпод тёплой вязаной шапочки выбились рыжеватые воло-

сы, шубка переливается на солнце. В руках у моей сверстницы лыжные палки, а лыж на ногах нет. Она смотрит на виднеющуюся вдали застывшую реку, большую гору над ней и крохотные фигурки людей, катающихся на коньках, которым нет никакого дела до неё, застрявшей в лесу. Да и у большого дома из красного кирпича с окнами на берег, отпустившего девочку на прогулку, своя жизнь.

На лыжах я уже накаталась, коньков пока не купили, но зато есть санки с высокой железной спинкой. Иногда Макс катает меня на Даугаве, и не дай бог прикоснуться распаренными в варежке пальцами к железным перильцам санок, закругляющимся вниз, — сразу прилипнут, и острая боль пронзит тебя насквозь. Последний раз — до ледохода — мы катались так долго, что началась ангина, а следующая, повторная, — из-за мороженого, которым папа угостил меня за Народным домом. И всё равно не хочется отрываться от книжки, в которой живёт девочка. Прочитать её не удаётся — написано на немецком языке, но продолжаю рассматривать даже с температурой, лёжа в постели.

Девочка стоит в оранжерее, на большой застеклённой веранде среди зелёных растений — они огромные, со странно изогнутыми стеблями и листьями. Кажется, ей никогда не выбраться отсюда. Лёгкая книжка увеличивается в весе — начинается жар. Слегка раздвинутые шторы на окнах кажутся разбухшими, словно ноги слона. Сквозь пелену обрывочного сновидения вижу открывающуюся дверь и Алвину с женщиной в белом халате, приближающихся ко мне. В руках у фельдшерицы шприц с иглой, а у домработницы — коробочка, от которой так пахнет, что раздрает ноздри. «Мама сказалл — надо уколл», —

стараясь быть уверенными, сообщают обе в один голос, как будто заранее отрепетировали.

Смертельно боюсь уколов! Заготавливаю пятки для отлупа. Алвина в паре с фельдшерницей заходят сначала справа, потом, видя мою решительность, быстро перебегают налево. Но такую больную не проведёшь! Рассекая воздух и рыча, взбрыкиваю и даю отбой. Исполненное чувства долга покрасневшее лицо медички, и без того похожее на сморчок, совсем сплющилось, а маленькие бесцветные глазки, наоборот, раскрылись во всю возможную ширь. С визгом и ором отбиваю очередную атаку. Гостья что-то бурно высказывает Алвине по-латышски и, прихватив адскую коробочку со стула, громко хлопает дверью. Домработница, словно скрываясь от погони, выскальзывает вслед за ней.

Обессилев от тяжкой ангины и непрошеного визита, падаю на подушки. На веки словно положили тяжёлые пятаки. Слава богу, что в комнате полумрак и можно не напрягать зрение. Неизвестно, когда же кончится это плохое и начнётся хорошее.

Всё началось после того, как мама прочитала вслух газету и заплакала. В ней было написано, что Сталина хотели погубить врачи, лечившие его в кремлёвской больнице. Эти врачи — евреи. «Что теперь будет, Макс? Что теперь будет?» — повторяла мама всё время. Каждый день она собиралась на работу по часу, перебирая на своем столе какие-то бумажки, и вид был такой, что вся красота поблёкла. Из больницы, прямо с работы, уже забрали одного доктора. Хотели и её, но секретарь райкома партии сказал, что не отдаст. Маму все знают в Екабпилсе и любят, потому что она настоящий врач и коммунист, а в партию вступила ещё на фронте. Свой партийный билет

она хранит, как сокровище, и только один раз дала мне на него посмотреть.

Когда началась война, мама сама сразу пришла в военкомат и попросилась на фронт. Только её туда отправили не сразу, а сначала послали работать в военный госпиталь в Кунгуре. Мама и раньше, до войны, после окончания медицинского института, уже работала в далёком селе, потом в санатории «Ключи», а теперь нужно было раненых спасать. В этом госпитале они с папой и встретились. Он попал сюда, на Урал, с Ленинградского фронта и теперь лежал в нулевой палате с такими же тяжёлыми больными. И вдруг Макс увидел мамино лицо, склонившееся над ним, и решил: «Ни за что не умру!» Через несколько месяцев в коридоре госпиталя к маме подошёл человек на костылях и сказал: «Я вас найду хоть на краю земли и спасу, как вы спасли меня». И он действительно долго искал маму по полевой почте — почти всю войну — и нашёл только в конце её.

В то время, когда он её искал, мама лежала в румынской клинике с тяжёлой травмой. Она даже не вставала на костыли — их эшелон бомбили, и её взрывной волной выбросило с верхней полки в коридор. Начальник госпиталя должна была оставить маму в Румынии, потому что наши войска шли дальше. Маме хотели ампутировать ноги, но её за красоту пожалел румынский профессор: «Будем лечить, ещё в лаковых туфлях ходите, только тяжести носить не сможете. Один килограмм возьмёте — почувствуете, два — задумаетесь, три — заплачете». И когда Женя лечилась в Москве, в военном госпитале, и только-только начала вставать на костыли, её нашёл папа и забрал с собой в Латвию. Так они пожалели друг друга после нашей Победы.

Когда папа привёз маму к себе в Виесите, в дом, уцелевший после войны, где уже не было в живых его семьи, Женю очень долго не брали на работу, потому что она была советским врачом, а таких в Латвии не любили. На улицах ещё стреляли. Макс появлялся дома редко — он вылавливал «лесных братьев», участвовавших в расстрелах мирных жителей: это они выдали фашистам папину жену с ребёнком, которых прятали добрые люди. Папа хорошо знал латгальские леса, поэтому его и пригласили помочь в поисках. Отправлялись в лес и многие женщины — собирать ягоды и грибы, а на самом деле — выполняли задания как разведчики.

Однажды к папе пришла жена его врага и рассказала, где этот изверг прячется. Он был таким жестоким, что даже жена его ненавидела. После этого папа разыскал землянку в лесу, где затаился негодяй и ещё несколько таких же, как он. Бандитов удалось захватить, и тогда папа запряг своего врага вместе с лошастью и погнал. Когда добрались до Виесите, у «лесного брата» были вывернуты руки, но он ещё жил. И Максу ничего за это не сделали, только сильно отругали. А потом, через полгода, родилась я. Мама с папой переехали в Екабпилс и стали жить среди хороших людей, которых много было и в Виесите.

О войне в нашем городке помнят все. В платяном шкафу, стоящем в спальне, на полке под простынями лежат два мешочка: один — мамин, а второй — папин, в них — военные награды. Мои родители надевают ордена и медали только на Праздник Победы. Тогда на старой площади, за углом нашего дома, устанавливают деревянную трибуну. Она стоит прямо перед пожарной каланчой, так что становится ещё торжественней и выше. Меня всегда берут на демонстрацию с красным флажком. Развешаются

флаги, все кричат «ура!», и я вместе со взрослыми. Площадь не такая уж большая, поэтому я, проходя в колонне с папиным промкомбинатом, оббегаю площадь по боковым улицам и, возвращаясь обратно на наш угол, успеваю ещё раз пройти мимо трибуны — только уже с маминой больницей. После демонстрации к нам приходят друзья, побывавшие на войне.

Вот и в этом году Макс снова перепортил все кастрюли, зато много наготовил. Кастрюли — домработнице, угощение — друзьям: холодец, заливная рыба, форшмак, щука фаршированная и цимес. Алвину папа не подпускал, но теперь она носится как угорелая с тарелками и вилками — того и гляди на кого-нибудь налетит! До того бестолкова, и с этим ничего не поделаешь. Вот и меня угостила — дала воды, стоящей в стакане у тарелки. Глотнула — и словно прожгло всё до пупа. Ну и гадость же эта водка! Терпеть её не могу с той самой поры!

Первым в гости приходит Марик Вассерман вместе с мамой и папой. Они такие худые — кожа да кости. Как только ноги носят?! Но несмотря на это, у них, говорят, очень умный старший сын Бомка. Он хорошо считает и учится в Ленинграде. Зато младший — заунывный: наверное, потому, что боится — а вдруг опять заставят читать стихи и придётся лезть под стол. Такого загробного голоса в жизни не слышала! Но это только в гостях — у себя во дворе он обычный мальчик.

Живут Вассерманы в переулке недалеко от нашего дома. Нужно только перебежать наискосок через церковный сад и пролезть через дырку в заборе. Эта дорожка известна давно. Зимой у Марика часто бывают ангины, как и у меня. С завязанным горлом он стоит и смотрит в окно. Нет чтобы пожалеть человека! А я прыгаю по сугробам,

розовею и дразнюсь: «Марик-комарик! Марик-комарик!» Больной с упрёком смотрит на меня — он и на самом деле стал маленьким и незаметным. И не подумаешь, что озорник! А ведь совсем недавно так разыгрался с Додкой Ротбартом, что дал ему по лбу доской от ящика, в которой оказался гвоздь, торчащий наружу. Додку тут же отвезли в больницу. Макс сказал: «Теперь, говорят, оба поуменьли!» А я думаю — вряд ли.

Через неделю после Праздника Победы решили мы троём поиграть в самолёт. Забрались по лестнице под крышу высокого сарая, на узкое окно приделали пропеллер, завели — и полетели. «Куда летим?» — «В Африку!» Внизу большие негры, негритянки и их дети жгут костёр, что-то жарят, танцуют вокруг огня, только пятки сверкают, и поют песни на африканском языке. «Приземляемся?» — «Нет, летим дальше!» Завернули к индейцам, покружились над вигвамами, никого не увидели и полетели к Балтийскому морю. Рассмотрели рыбачьи шхуны, заглянули в Крустпилс и полетали над двором Айзика Кигельмана, моего одноклассника, налюбовавшись всласть, как его на веранде порет родной папочка. И приземлились во дворе Вассерманов. Уф!

И как только угораздило Додку с Мариком додуматься: «Посиди немного, мы скоро придём!» Посидеть, конечно, можно, подумать о том, как мы с родителями пойдём в гости к Морганам. Я дружу с их дочкой Инкой. Зубы у неё, как падающий забор — кривые и в разные стороны. Но самое главное — она всему удивляется: «Это что, Беба, тебе папа живую белку из леса принёс?» — «Ну какая она живая, просто ваты в неё натолкала — вот и прыгаю по комнате с ней на веревочке». — «А что это у тёти Гени такое в тюбике красное?» — «Да губная помада, для того

чтобы людей пугать! Вот Луша чуть не умерла со страху, когда я, раскрасив всё лицо, улеглась с ней в потёмках спать, а потом попросила включить свет — живот болит!»

Инкин папа — самый главный человек в Екабпилсе, председатель горисполкома. Об этом знают все и, конечно, мой друг Нонка Горелик с улицы Философской. Как-то раз, когда они вместе с Борисом Марковичем и тётей Аней пришли к нам в гости, мы, отойдя в сторонку и посоветовавшись, сообщили ближайшим родственникам, что решили пожениться. Все засмеялись, только Макс стал серьёзным: «А жить где будете?» — «Да Морган квартиру даст!» — не задумываясь, ответил Нонка.

Может, Морган и правда дал бы нам квартиру, но только не такую, как у него, — прямо-таки дворец с балконом, куда все выходят подышать и поговорить, потому что чаепитие у них короткое: если пришли восемь гостей, а на тарелке лежат три пирожных — попробуй раздели! Зато с их балкона открывается вид на сад старика Домбровского. Чего только там нет! Ряды кустов крыжовника, целая аллея вишнёвых деревьев, яблонь не перечесать, кусты ребарбара, приветливо распахнувшие свои объятия, и сам хозяин — латаный-перелатаный, заплатата на заплате, с маленькой тележкой, в уже обрётённом Раю. Вот бы забраться в этот сад да распробовать всё как следует!..

Час давно прошёл, и солнце клонится к закату. Выглядываю во двор — ни души, а главное — убрана лестница. Меня, конечно, давно потеряли и ищут. От обиды начинаю «капать». Ну и приятели! Сами-то, наверное, уж давно поужинали! На мой отчаянный рёв из дверей дома показывается мадам Вассерман. Она всплёскивает руками. От расстройства голова идёт кругом, так что с чердака меня снимает спасатель — папа Марика. С Мариком я

больше не дружу. Терять друзей обидно и тяжело, но ещё хуже, когда дома плохо...

Уже сумерки. В нашем дворе у порога стоит встревоженный папа. «Ты где была, доца? — сердито спрашивает он меня и растерянно говорит: — Евгена пропала...» Мама действительно задерживается, и, кажется, я знаю где. Наверное, она опять у тётки Голды, куда мы несколько раз ходили вместе. Там нас ждал высокий дядя — даже не знаю, как его зовут, — мама осталась с ним, а меня увели играть к детям. Женя возвращается поздно, и лицо у неё непроницаемое. На вопрос Макса она не отвечает, молчит.

Вот и началось солнечное затмение, которое мне так и не удалось увидеть в санатории на взморье этим летом. Всем детям раздали цветные стёклышки и поставили на большой веранде: «Смотрите и увидите — на Солнце надвинется тень, а потом его совсем не станет видно на некоторое время». Но сколько я ни старалась смотреть, так ничего и не увидела. Зато теперь точно разгляжу.

Утром папа с большим сапогом бегаёт за мамой вокруг стола. Он хочет её ударить, но я знаю, что она совсем не виновата, ведь папа тоже хорош! Сколько раз его приносили с улицы пьяным и грязным и бросали у порога таким, что ничего общего с моим Максом я не находила. И маме все говорят: «Вы такая красавица, врач, депутат городского Совета. Ну что вы живёте с этим пьяницей?!» Папа начал пить на войне. Их даже заставляли пить перед боем, а потом он пил по привычке — с друзьями, на работе в лесу, всё больше и больше. Вот и решили добрые люди познакомить маму с приличным человеком, чтобы помочь ей дальше устроить жизнь. Один раз мы уже уезжали — в Молотов, к тёткам, а папа за нами приехал

и вернул обратно. Зато теперь уж у него наверняка из этого ничего не выйдет.

В гостиной уже давно стоят большие ящики. В них пакуют дедушкины часы с белоснежным циферблатом и золотыми стрелками, бухарский ковёр, мамины шёлковые халаты, льняные латышские скатерти — белую с красными петухами и серую, расшитую яркими выпуклыми цветами, моего «Бову-кузнеца», стихи Маршака, красную лаковую сумочку, присланную тёткой Аней из Загорска. И все, кто заходит в дом, молчат или что-то тихо говорят маме. Пришла Луша, помогает складываться, глаза у неё красные. И так каждый день — кто-нибудь да заглянет. Мама отвечает кратко — ей не до того.

До вокзала нас провожают Горелики: «Ну что, Женя, пиши! Чем можем — поможем...» У папы каменное лицо. Поезд, останавливающийся в Крустпилсе, хочет скорее расстаться с Латвией и домчаться до Москвы. Я прижимаюсь к небритой папиной щеке и твусь о неё, чтобы расцарапаться до крови, втискиваюсь в его живот — попробуйте оторвите! Но меня, ревущую, не только отрывают, но ещё и втискивают в вагон. Прижимаюсь к холодному стеклу, по которому струйками стекают слёзы.

Состав медленно трогается от вокзала и набирает ход. На секунду в окно врывается сверкающий, как гигантский кристалл, с нависшей над башнями покато́й крышей за́мок крустпилского барона. А дальше — пляшут за окном, приподнимаясь и проваливаясь, заваленные сугробами домики, изгороди огородов. Уходит из-под ног любимая земля. Увижу ли я когда-нибудь папу и наш дом, стоящий у подножия церкви, окружённый высокими липами, в ветвях которых зазимовали вороньи гнёзда?..

Часть 2

Перекрёстки

Ленина, 52

Непонятно — засыпает город или просыпается, и трамвай, на котором едем мы с мамой, — последний или первый? Он идёт в ледяной Молотов. От железнодорожного вокзала долго не видно ничего, а потом сквозь дырочки разрисованных узорами окон вагона проступают еле видные в ночи огоньки спрятавшихся за высокими сугробами домов.

Недалеко от трамвайной остановки закрытый подъезд. Мама поворачивает круглый дребезжащий звонок, похожий на адскую машинку. Сверху слышится взволнованный голос: «Женька приехала!» И, словно с неба, топот «архангела» по ступеням. Дверь открывается. Объятия, всхлипы... Молодая женщина, забыв о холоде, поднимает мою голову, упрятанную в зимнюю шапку, целует и пытается рассмотреть лицо. Но ничего не видно. «Мама, мама! — кричит она куда-то вверх. — Не выходи, холодно! Мы сейчас!»

Это тёти Мусина дочка, Лена. Её стройные лёгкие ноги

взлетают по ступенькам наверх, как и наш чемодан, который она выхватила из маминых рук, словно он ничего не весит. Деревянная круглая лестница ведёт к двери. За ней стоит маленькая худенькая старушка — дедушкина сестра Мария Аркадьевна, которую в семье зовут Мусей. Маме она доходит до пупа. Она прижимает её так, будто хочет втиснуть внутрь себя. И так они стоят в полной тишине, пока где-то в глубине коридора не открывается ещё одна дверь и кто-то заспанным голосом не спрашивает: «Неужто приехали?» Это Настенька, домработница тёти Сони, другой дедушкиной сестры. По направлению к нам шаркают домашние тапочки, и в тусклом свете единственной на длинный коридор лампочки я вижу что-то маленькое, кругленькое, похожее на колобок. Оторвавшись от мамы, Муся, ещё не отошедшая от крепких объятий, вместе с Настенькой переключаются на меня: «Бетка! Вот ты какая! Господи, глаза Александра и губы тоже!» Разглядели! Глаза и губы у меня свои!

Я словно вышла из Екабпилской бани — вся распаренная и мокрая. Нас с мамой долго ведут по коридору, потом поворачивают налево. Настенька притормаживает у своей двери, гостеприимно говорит: «Завтра, как встанете, милости просим к Софье Аркадьевне. И Сашенька давно уже ждёт Бебу». Саша — мой троюродный брат. Его родители живут в Ленинграде, а он — у бабушки и дедушки Раевых в Молотове.

Мусина комната, в которую мы входим, разделена на две огромным шкафом. Я сразу забегаю за него, чтобы посмотреть, что же там. За ним стоят большая железная кровать и письменный стол. «Пока так, Женька, — говорит тётя Муся, — а потом, бог даст, получше будет... Что уж смогли!»

Как здесь тесно, не разбежишься, не то что у нас в Екабпилсе! Есть ещё одна комната. Дверь в неё ведёт из той, в которой нас поят чаем. Там живёт Лена. Она учится в пединституте и ходит в хор «Спутник» при оперном театре.

Следующий день — воскресенье. Я просыпаюсь от Лениного пения: «Цветёт, цветёт пшеница золотая...» Её голос дребезжит, как трамвайный звонок. Ходить на кухню мне категорически запрещено, но я всё-таки украдкой наведываюсь туда. Сколько там столиков, накрытых старыми клеёнками! На них стоят керосинки, похожие на крохотные стульчики. Окна кухни выходят во двор, замкнутый забором, с застывшими рядом с ним качелями. «Беба, ты где? — слышу я голос тёти Муси. — Поди скорее! Тебя ждут!»

Она по-доброму смотрит на меня и почему-то не сердится за непослушание. Оказывается, нас действительно ждут — тётя Соня, дядя Боря и Саша. Тётя Соня — это та самая, которая вместе со старшей сестрой Анной была в молодости похожа на Крупскую. Теперь она уже не в том возрасте. Раевы живут совсем не так, как Муся, — в больших комнатах. Когда-то их занимала прабабушкина сестра Мария Яковлевна. Она была детским врачом, и её знал весь город. А потом её посадили в тюрьму, и она ослепла и умерла. Раньше в этой комнате стоял рояль, подаренный ею моей маме, но его тоже забрали вместе со всем имуществом и больше не вернули.

А сейчас здесь всё хорошо. За столом сидят мои родные, улыбаются, глядя на нас с Сашей, и предлагают вкусную еду. Настенька подходит к печке. Её маленькие ручки достают из углубления две красные чашки, разрисованные в белый горох. «Тёпленькое!» — говорит Сашиня няня, ставя их на стол. В чашках молоко.

Глаза у Настеньки покрыты поволокой и всё время смотрят куда-то вверх, а когда вдруг опускаются вниз, кажется, что она знает что-то такое, о чём никто и не догадывается. От неё веет домашним уютом и теплом. За печкой в сундуке, на котором она спит, всё её приданое, так и не пригодившееся в жизни, все её копейки, заработанные трудом, которому не было ни конца ни края. Уж она-то знает, как присматривать за детками. И маму Сашину — Наташу — вырастила, и за моей — Женей — приглядывала. Такой хлопотуши и преданной души днём с огнём не найдёшь! Она и не покричит, и не остепенит, как моя Луша, — только смиренно принимает свою судьбу.

Мы с Сашей уже играем под столом в волков. Но, став волками, оба какие-то не очень свирепые, а воспитанные. Наверное, потому, что за столом сидят взрослые. Правда, дядя Боря уже ушёл отдыхать. Он терпеть не может шума.

Вечером в комнате прохладно. Из-за шкафа, где мы с мамой лежим на кровати, хорошо виден край дивана с валиком, на котором отдыхает моя тётя. Над диваном горит тусклая лампочка — Муся читает. На руках у неё старые шерстяные перчатки с обрезанными, как у кондуктора, пальцами. Это даёт возможность брать с блюда, стоящего рядом на табуретке, жареный арахис.

Каждое утро Муся встаёт в шесть часов утра и идёт пешком через весь Комсомольский проспект в свою заводскую поликлинику, где она работает глазным врачом. Так было до войны и во время войны, когда улицы совсем не освещались.

Муся — самая младшая из дедушкиных сестёр. Закончив гимназию, она отправилась в Петроград на Бестужевские высшие женские курсы, чтобы стать врачом. Время

её пребывания там совпало с революцией. В огромном городе, где стреляли, занятия не прекращались, но было страшно.

Тихая, застенчивая, с огромной чёрной косой, похожая на Мадонну в детстве, она так и не выросла, но возмужала, особенно во время борьбы с трахомой, когда обследовала леспромхозы под Свердловском. Вот там-то и подстерегла её судьба! Лесник Кочкин, увидев Мусю, потерял голову и так приударил за ней, что она с испугу растерялась и сдалась. Кочкин был женат, но готов на всё. Он предложил молодому врачу руку и сердце. Муся решительно отвергла этот вариант, вскоре узнав, что уже не одинока. Лена родилась в Свердловске, а эта «история» тянулась всю жизнь. Ангельский характер Муси и её благородный поступок со временем оценили в кочкинской семье, и «жертвенницу» искренне полюбили все свердловские родственники. Когда началась война, Муся вернулась в Пермь с маленькой Леной, и моя мама, уходя на фронт, оставила ей свою квартиру.

Домом Муся занималась мало, еду готовила редко — чаще брала в судке из кафе «Юность», открытом напротив нашего нового дома. «Пойди, Бебочка, принеси себе котлетку с пюре!» — говорила та, которую я уже назвала Бабой Ягой, наверное потому, что она всё время меня строжила. «Только тут же вернись назад!» — добавляла тётя твёрдо. Съев котлетку, я просила ещё. «Ну ладно!» — не очень довольным голосом соглашалась она. Но мне, цветущему, «кровь с молоком», ребёнку, не знающему меры, и этого было мало. «Боже мой, Беба, ведь у тебя будет расширение желудка!» Сказала тоже! Да я полтаза вишни съела в Екабпилсе — и ничего! Ну, поболел живот и чуть-чуть вырвало. Так ведь жива осталась! Папа всегда гово-

рил: «Ешь сколько хочешь!» И вообще, живу я в этом Молотове, как в тюрьме. Ладно ещё разрешают на полчаса во двор выйти.

В глубине двухэтажного чёрного дома поселились вотяки. Откуда они тут взялись — никто не знает. У вотяков рыжие волосы, лицо в веснушках и бесцветные водянистые глаза. Зимой они бегают к поленнице, стоящей около дома, за дровами. А летом их не видно.

У примороженных качелей снег усыпан обломками почерневших веток, липовыми «носиками», похожими на крылышки мёртвых стрекоз, какими-то засохшими ягодами. Вдруг с треском раскрывается деревянная дверь, ведущая во двор, и оттуда вылетает железная ванна, с грохотом падающая на ледяной покров, разбрасывающая кусочки льда вперемешку со снежной пылью.

Из дверей появляется старуха, одетая в какие-то лохмотья — разорванную фуфайку, дырявую юбку, на голове — шапка-ушанка с одним ухом, на ногах — валенки ржавого цвета. За дверью, которую она быстро закрывает, — писк, визг, шипение! Слово что-то свернулось в огромный клубок, катается внутри, бьётся о стены и никак не может разлететься.

Это хозяйка пятнадцати кошек. Говорят, что раньше у неё их было ещё больше. И живёт она под нами, на первом этаже. Тётя Муся сказала, что зовут её Катерина Ивановна и что раньше она жила с сыном-военным. Однажды ночью за ним приехала чёрная машина с решётками, и больше его никто не видел. После этого Катерина Ивановна осталась одна, и у неё что-то случилось с головой.

Превращаюсь в Маленького Мука — а вдруг соседка меня заколдует и заставит ухаживать за кошками? Но старухе не до того — она хватает верёвку, за которую привя-

зана ванна, и медленно, тяжело переступая, раскачиваясь из стороны в сторону, проходит до конца двора, поворачивая к кинотеатру «Художественный». Ванна дребезжит и погрохатывает по льду. Куда же лежит её дорога? Ну конечно, не за металлоломом, который собираем мы, второклассники, по всем дворам и закоулкам!

Наше детское счастье — найти спинку ржавой железной кровати или старую батарею, тогда звено сразу выходит вперёд. А быть впереди — почётно! Ещё почётнее — писать стихи! Я это сразу поняла, когда Аркадий Лаврович пришёл посмотреть горло во время ангины, а мама с гордостью прочитала ему мои стихи об инвалидах Великой Отечественной войны, лежащих в её госпитале.

У раненых осколки от снарядов застряли в разных частях тела и не дают им спать. Когда я иногда ночую у мамы в физкабинете во время её дежурства, их тапочки всю ночь шлёпают по коридору. Инвалиды меня любят и всегда угощают конфетами. Но среди них встречаются и очень опасные. От одного мама даже пряталась до утра в шкафу. Он везде её искал, требовал какое-то лекарство и кричал: «Найду — убью!»

Однажды одного больного потеряли. Все медсёстры испугались, и мама тоже. Хорошо ещё, что сторож госпиталя, дежуривший во дворе, увидел его на карнизе, по которому тот куда-то шёл. «Лунатик!» — воскликнула мама и сразу приложила палец к губам, когда вместе с дежурными сёстрами выбежала во двор. Инвалид залез в раскрытое окно, а потом его нашли в кровати. «Необходимо поставить к кровати на ночь ванну с холодной водой!» — строго сказала мама.

Так вот за стихи про этих инвалидов Аркадий Лаврович и вручил мне настоящую медаль. Она была круглая, а

в центре её на вершине горы сидел всадник на фоне голубого неба и алой зари, показывающий куда-то рукой.

«Я думаю, — сказал Аркадий Лаврович, — что если бы царь Пётр Первый услышал твои стихи, он непременно бы тоже наградил тебя медалью!» За стихи — может быть... Но были и другие дела в моей жизни, за которые и царь бы меня по головке не погладил.

Корни

Где же всё-таки мои корни? В Прибалтике — сонме сосновых и дубовых лесов, глубококом речном иле Даугавы, на мельнице, окружённой, как ожерельем, лесными озёрами, песчаных дюнах на взморье, где блуждали мы с отцом? А может быть, они в старых пермских домах, где жили навсегда ушедшие мои близкие?

Прибалтика и Пермь удвоили детство. Город на Каме стал увеличительным стеклом, сквозь которое всё видится отчётливее: новые улицы, пейзажи, жизнь людей, окружавших меня, их лица, характеры, поступки.

Детство играло на пианино. Свечи на нём зажигались только под Новый год. Тогда оживали гарднеровские фарфоровые пастухи и пастушки, живущие своей растительной жизнью, — высвечивались в темноте, выбранные с любовью, как друзья. Среди книг можно было найти Вергилия и Горация, читавшихся на языке оригинала.

В то время я была самой маленькой в семье служителей Гиппократы — пермских врачей, современников основания Александровской больницы, слушательниц Бестужевских женских курсов, Киевского женского медицинского института, студентов Казанского, Томского

и Пермского университетов. Они были учениками и коллегами пермских профессоров Чистякова, Пичугина, Парина.

Моя жизнь удачно разместилась между двумя домами, стоящими на улице Ленина под номерами 52 и 81а. Так и водили меня всё детство — от одной маминой тёти, Муси, до второй, Рашуси, по этой улице с её благополучными, на первый взгляд, домами, в которых ещё жила недобитая интеллигенция. Зато домики, упрятанные во дворах, таили угрозу хулиганистых мальчишек. Впрочем, все вместе мы выпитывали примерно одни впечатления...

Кинотеатр «Художественный», жара, продавщица газировки под зонтиком не первой свежести, с разбухшими от воды и сиропа руками, французская булочка с корочкой посередине, банка майонеза, заменявшая лучшие конфеты...

За углом, на Комсомольском проспекте, липкий вар, пристающий к ладошкам, — выравнивают асфальт. Сносят старый базар. Неподалёку от Козьего загона — подгнившая деревянная лестница, обречённо зависшая над берегом. И, наконец, ослепительная воздушная площадка над Камой, у кафедрального собора.

Уже осень. Настя повела меня с Сашей на прогулку. Какими огромными кажутся листья, гонимые ветром!.. В страшном напряжении движутся волны, поскрипывают тяжёлые смоляные плоты на Каме. Я вспоминаю другой обрыв: Сигулда, охваченная ветром Даугава, старый замок над ней, вовлекающий в далёкую историю. Всё как во сне! А здесь собор — домашний бог — спокойный и ясный. С ним начинается новая страница моей жизни.

Над провинциальным городом нависали в то время морозные зимы. Выложенная кафелем печь скорее излучала белый зимний свет, чем тепло. В комнатах было так холодно, что меня укладывали спать в бумазеевом платье и чулках. Но даже в такую пору шёл пар из продуктовых «ямок» на улице Куйбышева, где можно было купить недорогую телятину и рябчиков, поедаемых с брусникой за гостевым столом. Впрочем, во все времена года здесь была весёлая толчея. Домработницы — с чинным видом и нитяными сетками — шептались, приценивались, почёсывали макушки под цветастыми платками.

В гостиной висела картина неизвестного художника с дыркой от пули, пролетевшей над самым ухом тёти Баси, прабабушкиной сестры, когда колчаковцы посетили Пермь.

Апрель был чист. Звенели трамваи. В Театральном сквере можно было встретить всех знакомых семьи.

Первой оперой, на которую меня повели, стала «Запорожец за Дунаем». Исполнители всех без исключения партий пели на непонятном наречии, которое ничего общего, как я теперь понимаю, не имело с украинским языком. Живость национального характера артисты стремились передать, действуя друг против друга локтями и коленями. Обречённая Снегурочка из одноимённой оперы, окончательно растаяв, выходила на поклон, тем самым поставив под сомнение мои представления о реализме в искусстве и сыграв неопределимую роль в формировании наклонностей ещё не оперившейся натуры.

Впрочем, в те времена всё ещё было хорошо, и я мечтала найти клад. Песчаный берег у Дворцовой Слудки, где меня определили в санаторий, многообещающе сверкал

чайными серебряными бумажками и фантиками, отрытыми в долгих поисках.

Клад действительно существовал, он ждал меня в почерневшем от времени сундуке в тёмном лабиринте коридора дома. Сундук принадлежал когда-то моей бабушке, Берте Давидовне Шахнович, студентке старшего курса Санкт-Петербургской консерватории. Он хранил главную тайну семьи — тайну неблагополучия: ранних смертей и вынужденных страданий моих родных, живших в жестоком мире революций, войн, потрясений, невозможности раскрыться до конца.

Недалеко от сундука располагалась дверь, ведущая в самые дальние комнаты второго этажа. В них ещё до революции поселилась сестра моей прабабушки, Мария Яковлевна Бруштейн — одна из первых женщин-врачей в России. Она была добра к людям. Детского врача знали в Перми все. Принадлежа к среде либеральной интеллигенции, она бесплатно лечила бедных, давала средства революционерам. Помню, как писатель Николай Вагнер, узнав о том, что я родственница Марии Яковлевны, рассмеявшись, сказал: «Мы звали её в детстве Тётя Якорь. Уж как начнёт осматривать — не отцепится!»

Её арестовали во времена ежовщины. У семидесятилетней старухи реквизировали всё имущество и засадили в тюрьму, где она и ослепла. После освобождения тётя Маша сказала: «Ну хорошо... Я — не виновата. Но почему никто даже не извинился передо мной?» Вскоре она умерла в семье нашего родственника, пермского профессора Аркадия Лавровича Фенелонова.

История семьи станет для меня своеобразным Священным писанием, где были свои грешники и праведники, отринутые и возвышенные, свои правила жизни и её глав-

ные законы. Прежде всего ценили долг, служение людям и верность себе. По этим законам жила и моя прабабушка, акушерка Цецилия Яковлевна, и её дети: Анна, Софья, Рашель и Мария, ставшие врачами разных специальностей. Поговаривали, что вместе с мужьями-медиками они вполне могли бы открыть клинику.

Их внешняя красота сочеталась со скромностью. Аскеза их жизни и глубина внутреннего мира составляли единство необходимого, позволяли оградить себя от многих ненужных и поверхностных вещей, поступков. Они не могли позволить себе *романтизма* и, учась в гимназии, знали: должны быть отличницами, чтобы далее, в крошечном списке допущенных к поступлению в высшее учебное заведение, не лишиться тех мизерных привилегий, которые давала процентная дореволюционная норма, сохранившаяся, к несчастью, и после революции.

Одна из сестёр, Мария, заменившая мне бабушку, которой я никогда не знала, как-то сказала: «Мы были тише воды и ниже травы. Не поверишь ли, Беба, в жизни я не знала ни одной минуты радости!»

Тогда мне было трудно её понять, но позднее, вспоминая эти слова, я инстинктивно стремилась к другой жизни, где была *радость бытия*, дававшаяся подчас так нелегко. Вероятно, во мне продолжала жить душа их брата и моего деда Александра, романтика и озорника.

В те времена, когда он и его сёстры учились в гимназиях, находившихся напротив друг друга, на оба учебных заведения приходился один учитель Закона Божьего. Живость и непосредственность характера ученика он выносил с трудом и, завидев его на уроке, раздражался целой тирадой:

По партам скакающий,
 В карты играющий,
 Семечки грызущий,
 Песни поющий —
 Вон из класса,
 Александр Зиф!

Можете себе представить, какой ужас испытала одна из сестёр деда, Рашель, когда батюшка однажды, возведя на неё глаза, спросил: «Дон минаносца корисимус Зиф! Кого это вы мне так напоминаете?»

Деда моего я никогда в жизни не видела. Но, видимо, как и он, я жила в своём мире и сама выбирала себе учителей.

Впрочем, речь идёт о деде. В 1915 году, после окончания Казанского университета по специальностям «Медицина» и «Юриспруденция», он был направлен по назначению в Среднюю Азию. Вряд ли до приезда сюда молодой человек имел хоть какое-то представление о древнем государстве Хорезме, о Хивинском царстве, об арыках и садах Ферганской долины...

Его лицо смотрит со старых фотографий: большие выразительные глаза, чёрные кудри, рассыпавшиеся по плечам, военная форма и... розы: в петлицах, на кокарде, а далее — перед домами — розовые цветники. На старой бухарской открытке девушки собирают их бутоны в огромные кувшины.

Постучав в дом богатого бухарского купца в поисках квартиры, он получил отказ: военная форма, маленький сундучок в руках — слишком бедно выглядел. Но, к счастью, из-за плеча отца выглянуло розовое личико его дочери, сразу положившей глаз на Александра. Потому-то и смилостивились — пустили в проходную комнатку с незамысловатой мебелью.

Молодой военврач, с утра до вечера пропадая в лазарете при части, еле-еле добирался до постели... «Розовое личико» тосковало в отсутствие предмета обожания и оставляло в его опочивальне всякие вкусности: кусок дыни, несколько абрикосов, ароматный плов на круглом блюде, в котором каждое зёрнышко риса, оранжевое от моркови, переливалось и не прилипало к другому.

Знаки внимания не остались незамеченными воспитанным юношей. Утром «розовое личико» получало благодарную записку, оставленную на столе, и пустую посуду.

Повод к тому, чтобы познакомиться поближе, вскоре представился. Пришло известие, что в Бухару приезжает родственница, студентка старшего курса Санкт-Петербургской консерватории Берта Шахнович. В доме начались хлопоты: чистили тяжёлые азиатские ковры, варили плов, закупали на базаре фрукты. Из кладовки принесли чан с вином и разливали его по бутылкам.

На письменное приглашение Александр ответил, но прийти не обещал. Как обычно, он вернулся поздно, утомлённый, и только из приличия заглянул в гостиную, откуда доносились звуки рояля и песни.

Рояль был развёрнут таким образом, что взору Александра представилась картина в раме: в асимметричном просвете, под высоко поднятой крышкой, отражающей блики, исходящие от обнажённой деки и струн, он скорее не увидел, а уловил обрамлённое чёрным и золотым лицо гостьи — её склонённые к пюпитру вьющиеся каштановые волосы, падающие куда-то в пропасть, чувственные губы, раскрывающиеся при пении, полуприкрытые вздрагивающие веки. Лицо девушки напоминало персик, гото-

вый сорваться с ветки, но то, что предстало его взору, не существовало само по себе, а зависело от чего-то более важного, значительного и необъяснимого. Приблизившись к роялю, Александр больше от него не отошёл. Через два дня молодой военврач и красавица-пианистка предстали перед равнином.

Однако их счастье было обречено. Путь Берты на каникулы должен был пролегать из Петербурга в Вильно, где её ждала помолвка с немолодым богатым женихом, которого выбрали родители. Предупреждённая сестрой, она изменила маршрут под предлогом визита к родственникам из Старой Бухары. Узнав о скоротечном браке дочери неизвестно с кем, родители прокляли её.

Быть может, тогда, в силу молодости, их дочь не вполне осознала, что произошло. Вероятно, в душе надеялась — посердятя и смирятся. Нет, не простили... Воспитанная в роскоши, вверенная заботам гувернанток, моя бабушка в чём приехала в Бухару, в том и осталась, но обрела главное — любовь, озарившую её красоту.

Она напоминала царственных жён Древней Иудеи стройностью, кротостью нрава, умением быть достойной любви, которую несла в себе. Ходила Берта, медленно ступая, голову держала высоко. И не от слабости, а от внутренней силы совершила поступок, на который не всякая благовоспитанная и послушная дочь, каковой она, несомненно, была, решилась бы — вышла замуж за бедняка по большой любви.

На старой фотографии-сепии молодые сидят, повернувшись лицом друг к другу и держась за руки, с обратной стороны надпись: «Дорогая мама! Надеюсь, что моя жена Берта будет Вам доброй дочерью». Они ещё успели заглянуть в Пермь и вернуться обратно. А в год револю-

ции родилась Женька, которой сразу завязали красный бант.

Растить девочку помогали жёны сартов — узбеков, осевших здесь с древних времён. С походной жизнью, с неустроенным бытом, с полуголодным существованием Берта справлялась с трудом. Александр, на скудный военный паёк которого они кое-как перебивались, метался: обустроивал полевые госпитали, обследовал кишлаки, где царила полная антисанитария, открывал приюты для детей-сирот. И всё равно было счастье. Тогда молодая жена не догадывалась, что её муж уже напроорочил им судьбу...

Ещё до революции, в Джаркенте, издал он книгу своих стихов «Поэма о Светлой Королеве»: море, замок, королева, родившая дочь и рано умершая. Вместо моря были арыки, вместо замка — небольшой домик в Коканде, где они и осели. А через полгода после этого, ослабленная тяготами жизни, моя бабушка умерла от двусторонней пневмонии, оставив крошечную Женьку и безутешного мужа. На похороны никто из родных не приехал.

После смерти горячо любимой жены Александр на долгие годы остался в сердце Средней Азии: работал в Скобелевском госпитале, был заместителем наркома здравоохранения Николая Александровича Семашко по Таджикской республике, а позднее — руководил Институтом тропических заболеваний. И всегда тосковал по близким, навещаясь к дочери, маме и сёстрам только в отпуск. Пока, наконец, в тридцатые годы не вернулся в родной город.

Как в молодости, с наслаждением блуждал он в лесах Курьи, в дремучем усть-качкинском бору, собирая грибы,

купался в Каме. Эта любовь к первозданной природе Урала передалась и мне.

Сколько ни уговаривали его жениться мать и сёстры, как ни старались свести с приличными невестами, мой дедушка остался одинок на всю жизнь.

Тайна Любви и хранилась в старом сундуке, отправленном после смерти жены в Молотов: пожелтевшие страницы партитур, косточки от корсета, пряди не поддающихся тлению мягких женских волос. Открыв его однажды, я решила попытаться найти дорогу к своей любви.

Дом на Набережной

Дом рос в высоту обилием колонн, окнами-арками, похожими на глаза, застывшими в изумлении, затейливой лепниной, напоминающей видения садов Семирамиды, и каменными вазами в палисаднике, хранящими воспоминания о летних цветах, недосыгаемых взору обывателя, спускающегося под горку к железнодорожному вокзалу. Дом жил в ожидании бала, и потому на лестнице, ведущей к входной двери, мог оступиться градоначальник, сломать каблук провинциальная Золушка и обронить платок, предварительно хорошо высморкавшись, заглазевшийся чиновник. Дом пароходчика Мешкова знал в Перми всякий.

Однако благоговейное чувство постепенно переходило в привычку у квартирующих в нём. Да-да, именно квартирующих в небольшом пристрое, выходившем окнами на камский берег. Для Цецилии он стал тем гнездом, где друг за другом появились на свет её дети-погодки. Отсюда время от времени отправлялся колесить по стране со своим

незабвенным саквояжем её муж Аркадий, невезучий коммивояжёр, умевший не столько делать деньги, сколько производить на свет потомство, о будущем которого, впрочем, его голова никогда не болела. В последний раз в семье его видели перед рождением младшей дочери Марии.

Пришлось Цецилии срочно определяться на двухгодичные акушерские курсы. Слава богу, у её отца, переехавшего вместе с дочерью из Могилёвской губернии, подальше от погромов, дела шли неплохо — купец первой гильдии Яков Григорьевич Бруштейн присмотрел Сылвенский стекольный завод, там и осел. И к дочерям недалеко навещать, и внуков можно на лето забрать, и самому с женой Софьей Моисеевной не так близко держаться — здоровье сохранить. А как иначе — у Цецилии жизнь не сложилась, Бася с детства не в себе, только последние два года в меланхолии, одна Мария, закончив с золотой медалью гимназию, выучилась и практикует детским врачом — вся Пермь её знает! Но с ней тоже не без головной боли — видите ли, стала революционеркой, ни один митинг без неё не обходится: то она в железнодорожном депо, то на Мотовилихинском заводе — ну кому такое счастье нужно?! Говорил, и много раз говорил, — плохо кончится! Так и кончилось — посадили в городскую тюрьму и решили сослать в Архангельскую губернию на два года. Он уже ездил в Пермь, разговаривал с *людьми* — советовали подать прошение о замене ссылки высылкой за границу под предлогом ослабленного здоровья. Боже мой, какая революция?! Работай на здоровье — ты нужна больным детям и, в конце концов, племянникам!

К счастью, прошение дочери было принято во внимание, и души родственников успокоились. Через год после

первой русской революции Мария уехала в Германию, дав подписку о том, что она не появится в России столько, сколько было предписано, — два года. А, в принципе, получилось не так уж плохо — как говорится, не делайте нам хуже... Теперь она практиковала в Берлине, при университетской клинике.

Родители Цецилии навевались в Пермь редко, чаще присылали красивые открытки, где поименно обращались ко всем дочерям с выражением своей преданности и любви, а кроме того, постоянно поддерживали их материально. Благодарная дочь, принимая помощь, и сама старалась прокормить семью. После окончания медицинских курсов стала акушеркой: дети с нянькой, а она — в двери. Могли прийти и днём, и ночью, так что помощница с ними и жила. Бедные звали редко, но шла ко всем — и к таким, где воды согреть еле-еле кастрюлю найдёшь. Никто не обижался, слова дурного о ней не сказал, и потому, наверное, Бог спасал семью. Чаще приглашали к роженицам из богатых — на их пожертвования и жила; а если дело выпадало на Пасху или ещё какой церковный праздник, домой приносила корзинку с продуктами — яйцами, куличами, всем, что не пожалеет добрая русская душа.

Жили дружно. Анна и Рашель учились в гимназии, отличались старанием и послушанием, только Александр рос озорником. Забавы, придуманные им, вызывали смещение в душе матери — ну кому ещё пришлось бы в голову заворачиваться в ковровую дорожку, расстеленную вдоль гостиной? Дорожка была длинной. Победителю предстояло завернуться в неё и, развернувшись, вернуться назад. Старших девочек увлечь подобной затеей было невозможно. Выбор Александра неизбежно падал на нерасторопную толстушку Соню.

Как-то раз, придя из гимназии и убедившись, что никого, кроме няньки, дома нет, Александр сделал лестное предложение сестре, поверхностно объяснив ей условия игры. В это время опекунша, устроившись в углу гостиной в уютном кресле, перебирала клубки шерсти и подбирала спицы. Оценив её увлечённость, Александр уложил конкурентку на дорожку, замотал в нее малышку, а дальше она сама, пыхтя, сопя и стараясь изо всех возможных сил, докатилась до противоположного конца гостиной и, чуть живая, вернулась назад. Брат честно засёк время и тут же, с наслаждением упрятавшись в дорожку, стремительно преодолел пространство, с упоением предчувствуя несомненную победу. Однако в полной мере вкусить её плоды не довелось — после освобождения от уз он с удивлением заметил, что гимназическая форма приобрела некий странный оттенок и даже запах, который учуяла и нянька. Она отложила вязание и призвала подопечного к креслу. Подслеповато прищурив глаза, старушка посетовала: «Милай! Да где ж ты весь в горчицке-то измазался?»

Действительно, то, чем была испачкана форма, по цвету очень напоминало одну из любимых народных приправ. Все сомнения рассеяла Соня — переваливаясь с боку на бок, она подкатила к Александру и с восторгом произнесла: «Кака!» Так она называла брата, поскольку его имени выговорить не могла, но в данном случае оно было вполне уместно. А случилось всё из-за непрозорливости гимназиста, завернувшегося в дорожку сразу после сытного обеда сестры. Разгневанный подобным оборотом дела, он решил пустить в ход одно из своих главных достоинств. «Если ты ещё хоть раз назовёшь меня Кака — я тебя съем!» — сказал брат и открыл огромный рот, которого Соня боялась до икоты.

Трудно сказать, возымело ли действие подобное утешение — ведь мальчик боготворил своих сестёр и терзался, когда огорчал их. Зная это, они ему всё прощали, а появившаяся на свет Мария не слезала с его рук.

Зимой дом на Набережной глох. Иногда Александр ставил девочку на подоконник и показывал то, что располагалось за двойными рамами, проложенными ватной постелькой. Он называл то, что затаилось и двигалось за окном: дерево, вертящую головой птицу, выглядывающую из осыпанных снегом веток, дворника, расчищающего тропинку. Всё это являлось в памяти обрывками и было похоже на коротенькие сны, не имевшие продолжения.

Другое дело — свистки паровозов и грохот колёс на железной дороге, пролегающей почти под домом. Они разбивались о морозную твердь тоннеля, впечатанного в каменное чрево горы. Дым от электрической станции и железнодорожных мастерских вместе с едким запахом угля оседал чёрными крапинами на растущие день ото дня сугробы. Река ушла, её поглотила серая морозная мгла, вскоре после полудня переходящая во мрак. Берег возвышался непокорённой вершиной. Из окон были видны шапки прохожих и редкие извозчики, испускавшие дух от холода и даже малой крутизны. Отсюда далеко было до Слудской церкви, где разрасталось катание с рождественских гор и расцветал румянец на щеках почтенных и менее почтенных горожан.

К Новому году дом терял в весе и становился почти прозрачным, как воздушный шар. Во всех окнах горел свет, арки над окнами представлялись кружевными лентами, вполне пригодными для праздничного платья. В зале ждали главную гостью — ёлку. И наконец к дому

подкатывали извозчики, звучали смех, учтивые приветствия, и дорожка к парадным дверям, о ширине которой заранее позаботился дворник, до следующего снегопада хранила следы маленьких и больших валенок. Впрочем, всё, что происходило за стенами особняка, оставалось загадкой для Цецилии и её детей. Она и не догадывалась о том, что Александру удалось однажды побывать в зале. Случилось это как раз перед Новым годом.

В ту пору в Перми ударили сильные морозы, хотя в феврале должно было наступить время позёмок. В этот год поднялись сугробы невиданной высоты. Потому-то раньше всех в особняк наведывался истопник, чтобы затопить две печки. В промежутке между ними стояла картина, от которой веяло жаром. За ней нужен был глаз да глаз, чтобы не случилось беды. Город готовился к открытию выставки работ художника Денисова-Уральского, жившего по другую сторону Уральских гор, в Екатеринбурге. Та, что разместилась в зале, называлась «Лесной пожар».

Зрелище было столь захватывающим, что Александру даже не пришлось в голову воспользоваться стулом, стоявшим перед картиной. Она словно втягивала в раму. Разбушевавшаяся стихия захватила мальчика настолько, что начинало щипать глаза и сковывало дыхание от удущья. Впечатление было таким неожиданным, что он раскашлялся до слез и отлетел к окну, но, успокоившись, вновь не отрывал глаз от пылающего леса.

На следующий день Александр привёл сюда маленькую Марию, которую не с кем было оставить дома. Бедный ребёнок тут же сделал лужу на паркете, промолив при этом тёплые штанишки и валенки, после чего пришлось срочно тащить сестру домой. Однако, не успокоившись, гимназист ещё раз посетил выставку. Потихоньку проха-

живаясь по ней, он слушал разговоры. Оказалось, что художник был не только живописцем, но и собирателем минералов, из которых создавал каменные диковинки, много путешествовал по Уралу. Будучи домашним мальчиком, Александр ни в какие странствия пока не собирался, но картину забыть не мог.

В ту пору жизнь семьи изменилась к лучшему. Давно вернувшись из Германии Мария Яковлевна, настолько преуспевшая в тайнах педиатрии и внутренних болезней, что практика в Перми дала блестящие результаты. Ей доверяли, а значит, у племянников появилась надежда, что они смогут учиться и дальше. Старших девочек определили в частную гимназию Барбатенко, в которой занимались дети из интеллигентных семей. В ней же преподавала уроки гигиены и практиковала врачом тётя Маша, как любовно называли её в семье.

Занимая верх в двухэтажном доме на Покровской улице, Мария Яковлевна вела приём в одной из прилегающих к спальне комнат. В гостиной стояли венские кресла, круглый стол, покрытый бархатной скатертью вишнёвого цвета с пушистыми кистями. Мягкий звон настенных немецких часов с белоснежным циферблатом и римскими цифрами создавал ощущение постоянства, в котором находилось место и семейным праздничным обедам, и задушевным разговорам с родственниками и знакомыми. На стене висели гравюры, картина неизвестного художника с видом на горное озеро, ещё не пробитая колчаковской пулей, пролетевшей мимо уха сестры Баси, большие портреты родителей и дорогих сердцу племянников.

Не имея ни мужа, ни детей, тётя Маша была примером, вероятно, поэтому все дети мечтали стать врачами, и со временем это желание становилось более осмысленным.

Им уже позволялось заглядывать в медицинские журналы, выписанные из-за рубежа и хранящиеся в рабочем кабинете на чёрной лаковой этажерке.

Окружённая вниманием и заботой родных, а также почтительным отношением горожан, Мария Яковлевна со временем не только не растеряла, а напротив, укрепила желание помогать людям, нуждающимся в поддержке. В семье иногда проговаривались о её прежних подвигах. Несмотря на возраст, дети знали — никому из посторонних рассказывать об этом нельзя. Частенько видя тётю Машу, одетую в демисезонное пальто, с пенсне на носу и старым саквояжем, они могли легко представить не столь отдалённое время, когда она, выходя из дома через чёрный ход и петляя по городу, пересекала наконец Сибирскую улицу и направлялась в сторону Разгуляя.

Отсюда, со старого медеплавильного завода, заложенного Татищевым, когда-то начиналась Пермь. Мост, нависший над логом, в котором располагался «первенец», соединял город с деревней Горки, раскинувшейся вдоль дороги, ведущей к отдалённому Мотовилихинскому заводу, до которого нужно было ещё шагать и шагать. Летом здесь было зелено и привольно, деревянные дома стояли, окружённые садами, а на полянках пасся скот, так что горожане могли легко прицениться к дачам, сдававшимся баснословно дёшево.

Однако сейчас Разгуляй был приморожен, он замер, как и весь город. Причиной тому послужил разгром декабрьского вооружённого восстания в Мотовилихе. С разгромленных баррикад тяжелораненые поступали в больницу, где первыми их встречали жандармы. Мария Яковлевна по случившейся необходимости отложила частную практику и вместе с коллегами-врачами занялась перевяз-

ками, что, без всякого сомнения, дополнило материалы её Дела, давно заведённого охранкой. Раненых полегче прятали в глухих баньках, амбарах и где придётся родственники и знакомые. К одной из них, молоденькой учительнице, сандружиннице, и совершала тётя Маша ежедневный путь. Содержимое саквояжа, в котором под тёплой кофтой, предназначенной больной, лежал стерильный материал, опустошалось в деревянном домике с мезонином, стоящем недалеко от Егошихинского моста.

Осколок был давно извлечён из плеча девушки, но глубокая рана нуждалась в постоянном уходе. Свет не зажигали, занавесок не трогали. Больная лежала на железной кровати, рядом с которой на стуле постоянно стояла кружка с водой. В то время как Мария Яковлевна доставала и раскладывала содержимое саквояжа, она испуганно смотрела куда-то вбок, а потом, после перевязки, плакала. Только однажды, когда стало полегче, дотронулась до руки врача и улыбнулась. Вряд ли тогда можно было предположить, что пациентка тоже станет медиком и после окончания Пермского университета будет полвека практиковать врачом на Урале. Впрочем, это была далеко не единственная история, известная семье...

Не изменяя своим привязанностям, Мария Яковлевна помогала единомышленникам средствами и даже создала детский приют. Вся Пермь знала — бедных лечит бесплатно. Она никогда не забывала и о потребностях племянников: на их домашних полках появилась библиотека. Девочки не расставались с Пушкиным и Толстым, Фетом и Тютчевым, а поэмы Надсона переписывали каллиграфическим почерком в домашние альбомы с виньетками, где они хранились под папиросной бумагой, приобретая тем самым характер ещё более усугублённого интимного

переживания. В то время Александр уже писал стихи. Все давали уроки и, несмотря на семейный достаток, по разрешению мамы откладывали копеечки и прибавляли к ним тётины рубли, предназначенные на посещение театра.

Сезон делился пополам. В один год можно было сначала побывать на спектаклях драматической труппы Кирикова, а затем познакомиться с репертуаром оперной труппы Альтшуллера. Монотонный порядок зимней жизни оживляли концерты знаменитостей, не минующих Пермь. В зале Благородного собрания звучали голос короля теноров Собинова, цыганские песни Вяльцевой и русские — Плевицкой. К весне влияние театра и музыки заставляло гимназистов погружаться в ожидание. Они чаще заглядывали в окна, становились задумчивыми и рассеянными.

Испытания начались с детского рёва испуганной Марии, проснувшейся от ночного гула, поднимающегося с реки, расколотой на множество осколков. Этот пугающий разлом неизбежно вторгался в тихий, повторяющийся распорядок провинциальных будней пристроя. В те дни река меняла цвет, становилась контрастно-синей и упругой, отталкивающей отражения облаков. Кама независимо оглядывалась на зори и закаты, врезающиеся в ещё не отошедшие от зимнего застоя небеса. Тогда распахивались окна, царящие над обрывом. Они улетали к противоположному берегу и растворялись, как льдинки уходящей зимы, в бесконечной дымке, висевшей над ним. Набережная улица погружалась в медленный хаос. Стайками собирались люди. Мужчины расстёгивали меховые воротники, женщины прятали в карманы варежки и без всякого стеснения глазели на ледоход — показывали пальцами, смеялись, щурились от солнца, тормозили детей, поте-

ряв учтивость, не особенно раскланивались со знакомыми и даже не искали их, а дышали, дышали, закрыв глаза и забыв обо всём.

Кстати, место, на котором разыгрывалось действие, называлось Набережным садом, а в просторечии именовалось горожанами Козьим загоном — из-за обилия парнокопытных, изрядно покушавшихся на его флору, что, очевидно, не особенно раздражало поклонников камского пейзажа. Никак нельзя обойти вниманием тот факт, что однажды его посетил Государь Император Александр II, судя по воспоминаниям присутствовавших в тот момент при царственной особе, воскликнувший: «Как хорошо здесь!» Случилось это в летнее время, когда город и берега над рекой блаженствовали в зелени незабвенных садов, которыми славилась Пермь. Можно лишь предположить, что ничто не нарушило торжественных минут, ибо как нежелательные посетители, так и козы были препровождены по назначению.

Гулянье над рекой ширилось, заполняя собой берег, и докатывалось до единственного железнодорожного моста, радующего публику своими ажурными очертаниями. Потом наступало время встречи первых пароходов. Половодье, ещё не спавшее окончательно, приносило их к пристани в преддверии белых ночей, о наличии которых в Перми петербуржцы и не предполагали. Пароходы брали с боем, отпихивая друг друга, работая кулаками, не особенно заботясь о последствиях, чтобы, совершив насилие, моментально впасть в сантименты, — посидеть, подышать, покачаться на волнах.

После этого вступало Лето, окончательно превращавшее Набережную улицу в квинтэссенцию пермского жителя. Над достопамятным садом пахло пивом, вином, ли-

монадом, шуршала серебряная и золотистая фольга от шоколада. Звуки музыки перебивались оживлёнными голосами и смехом. Не было слышно стука дамских каблучков — ещё не проложили асфальт, — и местные кавалеры, в том числе и любопытствующие фельетонисты, мягко ступали по земле и тому, что осталось от растительности. Действующие лица постепенно перемещались к реке, где их уже ожидали легковесные лодки. В прогулках принимали участие семейные и несемейные пары, гимназисты без гимназисток или с их участием (кто посмел бы усомниться в добропорядочности отношений?!) и попавшие под влияние местного очарования приезжие. Над Камой парили кружевные зонтики, взятые их владелицами из дома на всякий случай — не столько для вечерней прогулки, сколько для поддержания духа. Над берегом царствовали сирень и цветущие яблони, окутанные звуками гитар, мандолин, балалаек и поющих голосов.

На закате тело Камы лоснилось и перекатывалось нагулявшейся рыбиной, проступая пятнами, перемещающимися вниз по течению. Над рекой парили бесплотные силуэты лодок, беспорядочно разбросанных вдоль берегов. К восходу река вновь напружинивалась и подталкивала их к дачному посёлку, расположенному вниз по течению и названному Курьёй — в честь стародавних углежогов, поставлявших сырьё заводу. Одновременно Кама противодействовала тем, кто решился определить своё летнее местоположение в другой Курье, соблазнительно кивающей сосновым бором из верховья.

Гружённые вполтела, подплывали к пристани пароходы, рыжие и серые баржи, разбухшие от воды и изнемогающие под тяжестью бочек с солёной и мешков с сушёной рыбой, сладкой плотью астраханских помидоров,

арбузов и дынь, еле развязавшихся с бахчой. Вдоль них сновали крючники, разгружающие и нагружающие товар. Суетились извозчики, подвозившие и отвозившие пассажиров. По горке на Набережной тянулись нескончаемые обозы — ныряли звонкие и пустые, поднимались тяжёлые и немые. И так до позднего осеннего листопада, разматывающего и сматывающего под ветром золотые клубки листвы и наконец теряющего их ко времени, когда река вновь пустела и только скрипучие смоляные плоты, перекрывающие её тело беспорядочно разбросанными заплатинами, медленно двигались мимо опустевших берегов на юг.

К этому времени заметно подрастали дети из дома на Набережной. Пройдёт ещё немного времени — и они разлетятся кто куда. И останутся вместе три сестры, три голубки, сложившие крылышки, — Цецилия, Мария и Бася, претерпевшие жизнь. Вот сидят они, уже седые, бесплотные, — три духа, приютившиеся на старом диване, до времени, уже сжатого в краткое бытие. И кафельная белая печь в гостиной дома на Покровской, на фоне которой запечатлел их фотограф, давным-давно протопилась — ни огонька, ни уголька. Только в груди у каждой затаилась усмирённая жизнь. У Цецилии воротничок раскрылся и лицо — как воспоминание. О чём? Может быть, о доме над камским берегом, куда иногда заглядывала весна...

Невесты Вульфа Петровича

Семья со временем переехала в дом купца Абрамовича на Пермскую, 39. Сюда же из далекого Коканда Александр привёз и дочь Женю. У неё были огромные чёрные

глаза, опушённые длинными ресницами, и две толстые чёрные косы, доходящие до пояса. Дедушка, преисполненный любви и гордости единственным, что осталось от его безвременно ушедшей жены Берты, говорил сёстрам: «Вот спросите, спросите, как вас зовут! Она скажет!» Младшая, Мария, брала Женю на руки и послушно спрашивала: «Ну, скажи, Женечка, как меня зовут?» Не задумываясь, девочка отвечала: «Нюта, Соня, Муся, Рая». И так каждой из сестер.

Женины тетки были молоды и безупречны. Все закончили с отличием гимназию и выучились на врачей. Рашель стала педиатром, Мария — глазником, Софья — кожным, Анна — микробиологом. Возвратившись после учебы к родным пенатам, они разместились в комнатах, расположенных вдоль узкого коридора, ведущего из гостиной. Две из них — Рашель и Мария — слыли библейскими красавицами, а две другие — Софья и Анна — как две капли воды были похожи на Надежду Константиновну Крупскую. Сомнений в этом быть не могло. Анна, как-то раз приехавшая в Москву, случайно оказалась в одной рабочей столовой с Лениным, который, оторвавшись от тарелки и взглянув на нее, поперхнулся, очевидно, заметив удивительное сходство с женой.

Соня, Нюта, Муся, Рая были девицы с характером. И пока не принимали никаких ухаживаний. Кавалеры ходили в гости к их маме. Завидев очередного визитёра, сёстры мгновенно устремлялись в свои кельи и затихали.

Одного из претендентов звали Вульф Петрович. Будучи человеком в возрасте, он никак не мог решить, в кого же из них влюблен. И мучился. Визиты инженера-строителя явно не доставляли удовольствия моей праба-

бушке, тем не менее она соблюдала приличия: «Ну, как дела, Вульф Петрович? Чем занимаетесь?» «Строим», — отвечал тот, подробно описывая весь технологический процесс.

Однажды за обедом, строго начинавшимся в одно время, прабабушка сказала: «Милые мои дочери, я вас всех люблю, но если вы думаете, что Вульф Петрович приходит ко мне, то вы очень ошибаетесь, он приходит к вам». Наступила гробовая тишина, продлившаяся до конца обеда, после чего удручённые столь тяжким обстоятельством девицы растворились в своих комнатах.

Через некоторое время Вульф Петрович вновь пожаловал в гости. «Ну что? — спросила прабабушка Цецилия Яковлевна. — Каковы у вас дела?» «Завезли кирпич», — ответил Вульф Петрович. Женька, следовавшая за бабушкой по пятам и осознававшая свою полную защищённость, моментально ринулась в коридор и, постучав в первую дверь, провозгласила: «Рашель! Выходи! Вульф Петрович пришел! Бабушке надоело слушать его разговоры! Строим, строим! Сколько можно строить?! Он к тебе пришел — выходи!» Барабанная дробь разнеслась по всему коридору, не минуя ещё трёх дверей. Злые, с красными щеками, появились друг за другом прежние курсистки Нюта, Соня, Муся, Рая. На столе стоял горячий самовар. После мирного чаепития Вульф Петрович никогда больше не появлялся.

«Ну, Женька, — сказала ей после обеда каждая из сестер, — смотри!»

Они и растили Женьку, когда умерла бабушка, и когда в тридцать седьмом году от инсульта скончался их единственный и любимый брат. И всю жизнь опекали её, а потом и меня.

На углу

Именно на углу Комсомольского проспекта и улицы Ленина стояла нормальная школа № 82, ныне преобразованная в Академию художеств, где ждал меня когда-то чудом сохранившийся до сих пор руннокудрый ребёнок-вождь, свидетель моего раннего школьного возраста. Эта не поддающаяся разлому времён скульптура в памяти абсолютно отдельна от всех, увиденных позднее на просторах уральской жизни, в детских лагерях: пионеров, явно страдающих малокровием, но всё-таки вынужденных, подчиняясь установке, держать закинутые над головой вверенные им горны; Красной Шапочки, застывшей с неизбыточной мукой на лице и почему-то носящей головной убор синего цвета; огромного волка с выступающими сквозь исхудавшую плоть позвонками, напоминающего страницы суровой истории Кизеловского угольного бассейна.

Меня и препроводили в эту школу, где занятия начинались с хлопанья крышек о парты. Звучал гимн, напоминающий всем о долге и ответственности за сбор макулатуры и металлолома. Здесь, в слегка отошедшее от сталинизма время, свершались чудеса чистописания и трудолюбия, пробы сил и голоса. Здесь впервые в коллективном литмонтаже мне удалось попробовать своё рижское произношение на «ц» и ощутить влечение к сцене, а также к драматургии человеческих отношений, «влюбившись в любовь».

На девятом году своей молодой жизни, переписав от руки письмо Татьяны к Онегину и не расставаясь с ним ни на минуту, смятённая и потрясённая волнением героини, как заговорщица, я отводила в сторону безоблачных

третьеклассниц и развращала их пушкинской музой. Роман с «романом в стихах» закончился в духе времени... Классный руководитель, ещё не растерявшая бдительности, продемонстрировала моей маме вещественное доказательство недетской прозорливости.

Единственным человеком в школе, кто мог бы меня, вероятно, понять, была Надя Пермякова (в будущем знаменитый редактор Гашева), секретарь комсомольской организации, выслушивающая рапорты младших по рангу.

По улице Надя ходила размашисто, концы её мужской шапки развевались на ветру. Поступив после школы в университет, она сшила себе брюки, ездила на мотоцикле, а в свободное время писала стихи и тексты песен. Исходя из вышесказанного, не удивительно, что одна из её соседок принимала молодую особу за иностранную шпионку.

«Вот тебе животрепещущая поэтесса!» — директор книжного издательства Пастухов слегка подтолкнул меня к письменному столу. За ним сидела женщина с папиросой в руке. Это была Надя, за которой я начала ходить хвостом!

Впрочем, всё это будет ещё не скоро, а пока — ледяная горка во дворе школы. На ней катаются мои одноклассники: маленькая чистенькая Наташа Шипицына с двумя до невозможности тугими косами и крохотным носиком, постоянно вздёрнутым вверх от прилежания; Андрей Блинов — румяный очкарик, у которого всё падает из портфеля; живущая неподалёку от школы строгая Таня Гачегова, дочь милиционера, и Юлия Рангинская, от которой глаз не отведёшь, — высокая, смуглая, с похожими на спелые вишни глазами и маленькими ямочками на щеках — от неё всегда пахнет чем-то вкусным.

Мальчишки у нас так себе, особенно Лёка Ш. — ни за что не назову его фамилии. Это он написал на горку, на которой мы катались. «Вот гад!» — сказал Федя Зубков, мой приятель. Федя ходит всё время так, как будто он взлетает на носочках. Он живёт над Центральным гастрономом, на самом последнем этаже, а папа у него занимается погодой и пишет заметки в газету о том, какой она обязательно должна быть. Федю я всегда буду приглашать на свой день рождения. В этом году он подарил мне книжку о динозаврах, которыми очень увлекается, и написал в альбом стихи:

Если хочешь быть счастливой —
Ешь побольше чернослива,
А от этого в желудке
Разведутся незабудки.

Я знаю, что Федя желает мне добра, но эти пожелания не всегда сбываются, особенно в последнее время...

Вчера, когда я рано вернулась из школы, тётя Муся была уже дома и встретила меня неприветливо. Накормив и напоив меня, она стала такой злой, какой я её никогда не видела, и вдруг сказала: «Ну что, Беба, надо тебя в тюрьму посадить!» В тюрьму?!

«Скажи, ты открывала эти дверцы?» — спрашивает она, подводя меня к шкафчику, который всегда закрывает на ключ. «Ну конечно, нет! Никогда в жизни!» — «Ах, так ты ещё и отпираешься, дрянная девчонка!»

На следующий день меня отводят к тёте Рашели, где уже собрались все родственники. «Беба, — начинает Аркадий Лаврович, — случилась беда. У тёти Муси пропали облигации. Это такие бумаги, которые заменяют деньги. Скажи, Беба, где они?»

Ох и навалились все на меня! Мама плакала, тётя Рашель теребила в руках носовой платок, а Муся сидела как каменная. «Я говорила, что её распустили! — закричала Лена, тётя Мусина дочь, отличница из пединститута. — Она может делать всё, что ей заблагорассудится!»

Ну не было этого, не было! Я, конечно, люблю поиграть во дворе, когда приходят мои друзья, и отдаю им свои старые значки, открытки, кусочки материи, или мы меняемся марками...

Закончились и без того не очень-то счастливые деньки! Теперь Муся, посылая меня в кафе «Юность» за очередной котлетой, пересчитывала сдачу.

Милая и самая любимая Муся, заменившая бабушку, вечная моя заступница и «соглашательница», мирившая всех в семье во все последующие годы, была тогда непримирима. Только через десять лет, переехав в Ленинград с дочерью Леной и тоскуя обо всех нас «на болоте», она признается: облигации забрала соседка по уплотнёнке, подобравшая ключ к входным дверям и шкафчику.

Зная, что я серьёзно занимаюсь музыкой и собираюсь стать пианисткой, в надежде на прощение моя тётя будет долго посылать клавиры с единственной надписью: «Дорогой Бебе от Муси, снявшей грех с души».

Эти ноты я храню до сих пор...

Ленина, 81а

О благословенный дом, спасший моё детство! Он стоял на перекрёстке улиц Ленина и Попова, приютив «всякой твари по паре» — семью рабочих железной дороги, многодетную мать с четырьмя сыновьями, один из кото-

рых был глухонемым, мастера-одиночку по пошиву дамских шляп с вечной сигаретой в руке и прокуренным голосом и профессорскую семью с единственными на всех котом и собакой, обласканными соседями.

Было в этом доме что-то от «булгаковского», на Андреевском спуске в Киеве, — чёрный ход с открывавшимся из его дверей видом на неказистый дровяник и парадное с широкими ступенями. Парадным пользовались жители квартиры № 1. В дни праздников оно наполнялось воодушевлёнными голосами и репликами друзей, ожидаемых радушными хозяевами за гостевым столом, а по будням закрывалось на массивный крюк и оживало лишь изредка, отпуская Мастера на заседание учёного совета медицинского института или в хирургическую клинику на сложную операцию.

«Лена, где перчатки?» — раздавалось снизу. Домработница, озабоченная осложнёнными проводами, отвечала: «Дак чё, Аркадий Лаврович, вчерась ложила в карманы!» Убедившись в том, что перчатки на месте, смущённый хозяин дома закрывал за собой нижнюю дверь парадного. Но не успевала Лена опустить крючок и подняться наверх, как её настигал звонок. Ёжась от охватившего холода, она слышала сигналы очередного бедствия: «Мундштук на столе!» Тогда, предварительно сбегав в кабинет и оглядев заваленный бумагами большой письменный стол из рижского гарнитура в поисках означенного предмета, домработница стремительно неслась в гостиную, чтобы обнаружить потерю совсем в другом месте — на буфете в столовой. Еле скрывая досаду и что-то бормоча себе под нос, «спасительница» громко шлёпала домашними тапочками по ледяным ступеням и, сделав над собой усилие, умиротворённо спраши-

вала, подавая мундштук сквозь маленькую щель открытой двери: «Может, ещё чё?»

Профессор действительно был рассеян, но это свойство распространялось только на время пребывания в лоне домашнего очага, где его пестовали как дитя. На мелочи времени хронически не хватало, зато на кафедре факультетской хирургии, которой он руководил, об этом даже не догадывались.

Подтянутый и серьёзный, доброжелательный и ироничный, лаконичный и экстравагантный, Аркадий Лаврович Фенелонов внешне напоминал писателя Михаила Булгакова — ростом, плотностью телосложения, овалом лица и особенно пронзительными серыми глазами, от взгляда которых, казалось, ничто не могло укрыться.

Была и некая общность судеб. Сын священника из Мензелинска, в отроческом возрасте потерявший отца и хранящий память о матери, библиотекаре из Елабуги, с юности кормился своим трудом — репетиторствовал. Отойдя от аналоя, стал реалистом Уфимской мужской гимназии, а позднее — студентом медицинского факультета Казанского университета.

Профессор легко схватывал натуру и не на манжетах, а в скромном альбомчике хранил, между прочим, сделанные эскизные портретные зарисовки коллег, друзей, любимой жены Рашели и собаки Джека. Изредка, подшофе, он присаживался к пианино и пел густым басом, почти профундо, арию Мефистофеля так, что во всём двухэтажном доме на мгновение останавливались сердца его обитателей.

К разряду любимейших занятий можно было отнести вырезание сладко пахнущих мундштуков из вишневого дерева и курительных трубок, придиричиво выбранных в

столичных магазинах. Однако, собрав целую коллекцию, выставленную в буфете, он отдавал предпочтение единственной, полученной в дар во время войны, когда проводил опыты, внедряя новую методику борьбы со столбняком, от которого гибли раненые.

Кроме всего перечисленного, профессор читал на древних языках — греческом и латыни, увлекался серьёзным театром и опереттой, а со временем и практической натурфилософией — рыбалкой и садоводством.

Ходил Аркадий Лаврович немножко прихрамывая на левую ногу, но это было почти незаметно, и уж никак нельзя было сказать, что профессор был бонвиваном. Однако первую жену, красавицу-армянку, сменил на вторую, красавицу-иудейку, за которой ухаживал десять лет.

Рашель была обворожительна, но к тому же умна и серьёзна, и потому в Суламифи не годилась. С этим пришлось считаться. Казалось, что она не подавала ему никакой надежды в отношении будущего, а её законопослушная мать-акушерка Цецилия Яковлевна уже страдала: «Боже! Мои дочери — они просто сошли с ума!» И она была права, ведь Рашель могла бы выйти замуж по крайней мере за профессора. Аркадию не пришлось служить за свою Рахиль у Лавана и пасти овец, зато под давлением чувств, желанием объекта обожания и, несомненно, в силу собственных определяющихся интересов он серьёзно занялся наукой. Отмерив километры до- и послереволюционной неразберихи, их судьбы пересеклись в незнакомом ему уральском городе, в котором родилась и выросла Рашель.

Закончив с похвальным листом гимназию Барбатенко, она не стояла перед выбором профессии и, поступив в

Киевский женский институт (хотя до революции это было далеко не лучшее место для пребывания), закончила его в год открытия Пермского университета. Домой молодой врач не вернулась, а отправилась сразу к Александру в Фергану — служить на нефтяном промысле, где и застала её революция, определившая дальнейшую судьбу военнообязанной.

Путь Рашели лежал из жарких объятий Средней Азии в туманные новгородские дали — в лазарет гвардейского кавалерийского полка в Кречевицах, откуда она, демобилизовавшись, вернулась через год домой, чтобы ободрить исстрадавшееся сердце матери и принять новую обязанность — создание приюта для подкинутых детей.

В это время сестра Соня и младшая Муся учились в университете, а старшая Анна уже практиковала в глубинке Среднего Урала, в далёкой Сухановке. Родственники обменивались открытками, осевшими в запасах дореволюционных лет: портретами артистов МХАТа, изображениями классической скульптуры, лукавыми детскими личиками, глядевшими с них, хотя в то время было не до улыбок.

Родившись в один год с будущей женой, Аркадий начал своё служение ещё в Первую империалистическую, вынужденно прервав занятия на четвёртом курсе Казанского университета, и два года прослужил в лазаретах Красного Креста Юго-Западного фронта. После революции спокойно практиковал на Граховском участке недалеко от Елабуги, откуда его насильно прихватили с собой белые для сопровождения больных в Уфу и далее в Сибирь, пока молодому лекарю чудом не удалось перейти в расположение отряда Красной армии Знаменского военного комитета. Неподалёку от Красноярска, в Знаменском заводе, он

успел побороться с эпидемией сыпняка. Последним в списке испытаний стал двухсводный эвакогоспиталь на станции Зима, где Аркадий служил уже ординатором и был откомандирован, как и все его однокурсники, мобилизованные студенты-медики, в ближайший по местоположению Томский университет для завершения образования.

К тому времени закончилась передышка и для Рашели. Она проводила дни и ночи в заразных и терапевтических госпиталях при Красной армии и в жёстких объятиях Гражданской войны сначала эвакуировалась в Вятку — подальше от колчаковцев, а потом, облегчённо вздохнув, реэвакуировалась в Екатеринбург, откуда было уже недалеко до дома.

В двадцать первом году два новоиспечённых ординатора встретились под крылом пермского Гёттингена. Впоследствии их наставниками, коллегами и единомышленниками станут блистательные профессора: офтальмолог Павел Иванович Чистяков, его тёзка педиатр Павел Иванович Пичугин, династия Париных: отец — хирург Василий Николаевич и два сына, Борис и Василий, ставшие впоследствии научными светилами, а также инфекционист Иван Степанович Богословский.

...Рашель вышла замуж за Аркадия, не дождавшись осуществления маминой мечты, за много лет до того, как учёный совет Казанского университета, учитывая практический опыт, знания и положение её мужа, без защиты диссертации присвоит ему степень кандидата медицинских наук. Они разлетались друг от друга только по столицам: Аркадий — в Москву, в Академию наук, к патолофизиологу Александру Дмитриевичу Сперанскому и гистологу Борису Иннокентьевичу Лаврентьеву; а Рашель — в Ленинград, в Военно-медицинскую академию, в кли-

нику педиатра профессора Михаила Степановича Маслова. Аркадий защитил докторскую по столбняку за несколько месяцев до начала Великой Отечественной войны, Рашель — по церебральному менингиту у детей за несколько месяцев до Победы.

А между началом и концом этой эпопеи стоял глухой заснеженный Молотов, принимавший в своём тыловом лоне испытания и испытуемых. Парадное дома на Ленина, 81а, более не открывалось — пользовались чёрным ходом. Уходили по утренним и возвращались по вечерним улицам. Рашель направлялась в расположенную далеко от дома детскую клинику, Аркадий — поближе, в институт, где вразумлял студентов. Впрочем, главным местом его пребывания стал эвакогоспиталь № 3149 на 900 коек, куда судьба назначила профессора главным хирургом.

Здесь, в здании бывшей клиники, находившейся за углом Попова на Луначарского, чудом уцелевшим раненым, поступившим с передовых, делались сложнейшие нейрохирургические операции. Коридор госпиталя был забит до отказа. Профессор и его коллеги редко отлучались домой: они выбрали главное — и забыли о себе. Порой их труд казался бессмысленным — всё решалось не здесь, а там, откуда привозили участников битвы и куда уходили их близкие друзья. И дом профессора проводил на фронт дочь Александра, Женьку, выпускницу медицинского института предвоенного года, подругу Рашели и ординатора той же пичугинской клиники Тамару Михайловну Рутенберг.

Аркадий Лаврович тоже стремился туда, но отпускали ненадолго — только для того, чтобы провести в полевых условиях испытания нового метода лечения столбняка, грозившего гибелью сотням сражающихся. Получив

в сорок втором году орден «Знак Почёта», он не особенно упивался этим фактом, а заботился о выполнении факультетского обещания. Ночи и дни, проведённые на операциях, консилиумах и перевязках, слились для него в одно огромное пространство, в котором решалась судьба раненых независимо от их званий, и многое зависело от его умения.

Лишь изредка встречался Аркадий с Рашелью за домашним круглым столом, покрытым выдавшей виды скатертью, чтобы поговорить о главном или просто помолчать, понемногу пробуя лакомство чуть расширенного пайка профессора-орденоносца. Порой удавалось покусоичничать с жителями знаменитой «семиэтажки», подтягивавшимися к дому поодиночке или стайкой: писателями Михаилом Козаковым и Семёном Розенфельдом, драматургом Александром Штейном, вырвавшимся из блокадного Ленинграда. Вспоминали о довоенной поре, прислушиваясь к собственному голосу, репликам, рассказам, стремясь найти единомыслие в собеседниках. Говорили о войне, и каждое слово, фраза, воспоминание были значительны и важны.

Состояние жителей «семиэтажки» — известных деятелей культуры, литераторов, композиторов, артистов, круг которых был гораздо шире принятых в доме, совпадало с внутренними ощущениями его хозяев. Тяжесть, давившая грудь, неизвестность судеб, оказавшихся за чертой тыла, и желание преодолеть эти страдания облегчались творческим трудом. Но, казалось, существует и ещё одна общая для всех тревога — о судьбе одного из обитателей гостиницы «Центральная», доставленного из блокадного Ленинграда на костылях и оказавшегося пациентом эвакогоспиталя № 3149.

Койка больного стояла в кабинете Аркадия Лавровича впритык к его рабочему столу. Консилиум профессоров Модестова, Футерова и Ясницкого уже вынес приговор: скальпель бессилён. С рассеянным склерозом, которым пациент был болен давно, не могли справиться и в Европе, куда он ещё до войны ездил на консультации в Берлин и Париж. Врачам стало ясно: облегчить и продлить его жизнь может только творчество.

Писатель-пушкинист Юрий Тынянов нарушал режим с их позволения — так он боролся со смертью. Тогда-то Аркадий Лаврович и поделил свой письменный стол с автором «Кюхли» и «Смерти Вазир-Мухтара». Юрий Николаевич ждал часов, когда профессор будет занят на операциях, консультациях и лекциях в институте. Весь архив остался в блокадном Ленинграде. Удалось вывезти только две книги, с которыми он не расставался никогда, — монографию Тарле «Нашествие Наполеона на Россию» и «Военные записки Дениса Давыдова». Эти вечные спутники вместе с рукописями Тынянова, над которыми он работал, лежали в ящике профессорского стола и извлекались в редкие минуты, когда состояние больного улучшалось. Но на ночных дежурствах Аркадия Лавровича Тынянов доверял ему подготовленные к публикации последние главы и сцены незавершённого романа «Пушкин».

Перед профессором возникали юнокудрый Пушкин и музы, пленившие воображение поэта, круг его друзей, как и он, не обременённых ещё тяготами Фемиды, видения старого парка с зелёными тропинками, ведущими к бесмертным статуям, являющим благосклонность к тем, кто посетил их и воспел, мудрые деревья, охраняющие незамутнённую гладь пруда и Царского Села. Рукопись была

не отредактирована, ясные по мысли строки уступали место другим — неразборчивым, улавливались пустоты в логике — болезнь разрушала мозг писателя, но оторваться от чтения профессор не мог. В пространстве будущей книги, как зелёные острова, возникали образы того Тынянова, которого он знал и любил раньше.

В его руках побывали и два рассказа писателя, опубликованных в сорок втором году в альманахе «Прикамье», — «Красная шапка» и «Генерал Дорохов»; приходилось ему и перелистывать черновые рукописи «Гражданина Очёра». Юрий Николаевич писал о героях войны с узурпатором Наполеоном — Павле Строганове, Кульневе, Дорохове, о тех, чьи имена перекликались с историей Урала, хранящего неизбывную силу природы и духа. Тынянов оставлял в наследство осмысленную им и постигнутую в совершенстве науку мужества, которой суждено будет стать не прощанием, а его завещанием.

Навестить больного приходили обитатели «семиэтажки»: писатели Соколов-Микитов, Михаил Козаков с женой Зоей Никитиной, «серапионова сестра» поэтесса Елизавета Полонская, балерина Татьяна Вечеслова. Бывали здесь и пермяки: поэт Борис Михайлов и секретарь Пермского горисполкома Людмила Сергеевна Римская, проявившая большое участие к оказавшемуся в тяжёлом положении Тынянову.

Но чаще других заглядывал в госпиталь Семён Розенфельд. Аркадия Лавровича от дел не отрывал, знал — не до него, внимательно наблюдал за происходящим, разговаривал с ранеными. Не назвав имени смертельно больного писателя и дав профессору, разделившему с ним кабинет и стол, фамилию Харитонов, он лишь коснётся

одного из трагических эпизодов в жизни тылового эвакогоспиталя, запечатлев эти дни в романе «Доктор Сергеев».

Весной сорок третьего Тынянова переведут в московскую клинику, где завершится его героическая битва. История болезни Юрия Николаевича из Молотова послевоенной поры перекочует в Ленинградский архив милосердия. Эвакогоспиталь № 3149 будет преобразован в прежнюю хирургическую клинику, которую возглавит профессор Фенелонов, ставший заведующим кафедрой факультетской хирургии, а гораздо позднее — главным хирургом города — всё вернётся на круги своя. Хотя что могло остаться прежним после такой войны? Только голоса друзей «булгаковского» дома, вернувшихся с неё, и медовый запах «Золотого руна», вновь заструившийся из кабинета постаревшего профессора.

Отрываясь от стола с разложенными на нём рукописями, он вновь с наслаждением набивал довоенную трубку, отполированную прикосновением рук; откидываясь в кресле в минуты счастливого отдохновения, устремлял взгляд на противоположную стену, около которой на этажерке стоял красный чемоданчик, таящий доставшийся по случаю трофейный патефон. Чемоданчик властвовал над средней полкой, хранящей несколько оперетт Штрауса в растрёпанных конвертах, стоявших вперемешку с симфониями Бетховена и ноктюрнами Шопена. На стене висели превосходные масляные копии картин художников Парижского салона: портрет девушки с распущенными и слегка задевающими уши рыжеватыми волосами; поворот улицы с её разбегом, в который вписалось округлое личико белошвейки, лишь на мгновение укрупнившееся в нём; фотография Рашели в юности — тонкий

профиль, правильные черты лица, взгляд, устремлённый за пределы пространства, ограниченного рамкой. К стене примыкали коричневый кожаный диван и большое кресло без чехлов, имеющие абсолютное сходство с мебелью вождя в Горках. За стёклами книжного шкафа высвечивались переплёты Медицинской энциклопедии, томов римских поэтов на языке оригинала и переводами Гёте и Гейне. Здесь находилось место и для массы серых невыразительных корешков научных журналов с трудами учёных-современников.

Аромат «Золотого руна» соединял в одно целое всю квартиру: коротенький коридорчик, ведущий к двери с выходом на парадную лестницу и далее — в большую комнату, разделённую аркой в виде фигурной скобки на гостиную и столовую. Он смешивался с запахом Рашуновых сладких духов из жёлтой коробочки, украшенной алыми маками, и крема, напоминающего запах персика.

Жизнь словно остановилась, стала счастьем и утолённой надеждой. Вот тут-то и появилась в «Ноевом ковчеге» девочка, совавшая нос во все двери и даже в профессорский кабинет, хотя это ей было категорически запрещено. «А, это ты, Бебка! Давай-ка мы с тобой послушаем «Летучую мышь»!» Оперетту я не любила никогда, но невозможно было отвести взора от красного чемоданчика с потрескивающей пластинкой под плавающей иглой, совершающей невообразимые полёты озвученной партитуры, вздорного текста и противоестественного смеха исполнителей. Под напором этого действия я тонула в огромном «ленинском» кресле.

Однако музыке не удавалось овладеть кабинетом полностью — ни тогда, ни потом. Ей это было не по силам.

Главное место принадлежало Мастеру, моему дорогому Мастеру, к которому я даже тайно не помышляла прижаться щекой.

Будни и праздники

Кот Светик в очередной раз дёрнул хвостом и обустроился под пальмой, стоящей недалеко от обеденного стола. «Лена, ну сделайте же что-нибудь!» — возмущается тётя Рашель. «Дак чё,— отвечает домработница,— горшок ли чё ли ставить? Уж сколь наказывала, а всё заскребат!»

Маленькая, коренастая, с глубоко посаженными голубенькими глазками, всегда ясными, как божий день, задорным носом и вечно спутанными на затылке волосами цвета переспелой ржи, Лена встаёт с боем часов в полночь и, включая верхний свет, идёт к столу есть заготовленные с вечера солёные огурцы. Спиртного она не пила и не пьёт, а закусывает лихо — громко чавкает, хрустит огурцами. Я просыпаюсь, поскольку лежу впрыток к месту, где сосредоточились яства. «Лена, сколько раз я вам говорила — вы будите Бебу!» — огорчается Рашуся. «Дак чё,— отвечает домработница,— мы вон в деревне в избе-те спали, дак хоть медведь подгребат — и глазом не моргнём!»

Но зато у Лены такие преимущества, о которых знают все. «Лена! Хрен есть или нет? — спрашивает толстогрудый великан Леонид Викторович Кац, начальник областного отдела здравоохранения, пришедший раньше всех гостей с чёрного хода. Он заглядывает в дверь с мороза. — Если нет — я пошёл!» Такого хрена в Молотове не делают больше ни в одной семье — и белый на сметане, и крас-

ный, к которому прибавляют ещё и свекольный сок. Ложками бы ела. В это время Рашуся гордится Леной, зато в остальное говорит, что половина её седых волос исключительно из-за домработницы. А без неё Рашуся как без рук — ведь она почти ничего не видит и моё лицо разглядывает, низко наклоняясь.

Рашуся долго лечила детей в детской клинике профессора Пичугина. А зрение она потеряла во время войны, когда писала диссертацию при маленьких огарках свечей. По комнате тётя передвигается медленно, трогая предметы, и часто натывается на доberman-пинчера Джека. А он и рад, ведь больше никто его так не гладит. Рашуся садится в глубокое кресло, Джек тут как тут. Иногда мне кажется, что от этой глажки у пса на ушах будут дырки. Рашусина подруга — Тамара Михайловна Рутенберг — часто просит: «Возьми меня в джеки!»

День рождения Джека — 29 мая. В этот день Лена всегда идёт в «ямку» на Куйбышева и покупает самую лучшую телятину. Косточки отдают Джекуше, а из телятины делают мясной пирог, который достаётся нам и только кусочек — имениннику. А живётся псу так хорошо потому, что детей у Фенелоновых нет, только он да я — приبلудная. Меня берут с собой в Голованово на дачу, которую Тамара Михайловна называет «Байдарские ворота»: «С горы открывается такой вид!» А Джека возят с собой на курорт в Боровое, в Казахстан, да ещё посвящают любимчику стихи:

Хоть у нашего Джекуши
И испорченные уши,
Лучше Джека моего
Нет в мире никого!

Он умён, всегда приятен,
И весьма, весьма опрятен.
Ласков с нами Джек всегда,
Не изменит никогда.

На курорт его везём,
На руках купать несём!

Правда, и я не в обиде! Рашусино стихотворение, посвящённое моему аппендициту, гораздо длиннее. Оно о переживаниях... Сначала заболел живот. Взяли из пальца кровь и убедились в том, что где-то воспалительный процесс. А когда совсем приспичило — вызвали с оперы «Травиата» хирурга Просвирнина, чтобы «соперировал наверняка», и отвезли меня в госпиталь инвалидов. Когда я лежала на операционном столе с уже разрезанным животом, прохрустевшим под скальпелем, Просвирнин в маске вздумал предупредить: «Сейчас мы твой аппендиксотрежем!» От испуга я так завизжала, что на следующий день больные спрашивали: «Откуда в госпитале взялся поросёнок?» Всего этого нет в стихотворении, потому что Рашуся про это ничего не знала. Зато есть многое другое:

Жил аппендикс молодой,
Недурён был сам собой.
Жил у Бебы в животе,
Не прописанный нигде.

Ничего о том не зная,
Беба прыгала, играя.
И аппендикс закрутился
И, конечно, воспалился.

Отвезли Бебу в больницу,
Отложив на время вицу,
Там на койку положили
И аппендикс удалили.

Сам Просвирнин удалой
Удалил его долой.
Прямо в госпиталь явился,
Обо всём распорядился.

Хоть устал за день ужасно —
Соперировал прекрасно.

Беба несколько ночей
Не могла сомкнуть очей
И кричала поневоле
От инъекций, жара, боли.

Вся иссохла Бебы мама,
Исстрадавшаяся дама,
Истерзалась тётя Муся,
Извелась вконец Рашуся.

А когда исчезли боли —
Не было счастливей доли.
Все уколы отменили
И иным путём лечили.

Поправляется Бебуса...
Вот пришла к ней тётя Муся, —
Беба стала вдруг шалить
И немножечко дерзить.

«Э-э... — сказала тётя Муся, —
Значит, ты здорова, Буся!
От тебя теперь уйду,
К тебе больше не приду!»

Судя по сему примеру,
Шалить детям нужно в меру,
А врача нужно любить
И всю жизнь благодарить.

Это стихотворение слышали все врачи, медсёстры и инвалиды маминого госпиталя, когда я читала его со сцены на празднике в клубе. А потом я подарила хирургу Провирнину букет цветов, и все за него радовались.

Наш пёс шоколадного цвета. С утра пораньше он будит меня, становясь длинными лапами на живот, и с нетерпением тычет мокрым носом в щёку, а потом несётся через коридор в спальню к Аркадию Лавровичу и проделывает с ним разные штучки. И неудивительно, ведь тот ему дороже родного отца Джима! Джим живёт в Свердловске, у брата Аркадия — хирурга Павлуши. Стыдно вспомнить, как на даче в Голованово разнимали сынка с приехавшим в гости папашей, разливая их водой из колодца. Но Джеку прощается всё.

Каждый день, возвратившись из клиники, Аркадий Лаврович первым делом интересуется его аппетитом. А если «мальчик» плохо ел, ставит фарфоровую собаку с пианино на пол, поближе к миске, и торжественно обещает, что сейчас-то она всё и съест. Тогда Джек моментально справляется с остатками пиццы, вылизывая её до конца. Он фыркает от удовольствия, и крошки разлетаются с его носа во все стороны. Всё это происходит в ожидании прогулки.

Как-то раз мы отправились на неё втроём. Свернув на Попова и дойдя до клуба имени Ленина, Аркадий незаметно передал поводок мне: «Иди, как шла, а я пойду в другую сторону». Расчухав подвох, Джек проволочил меня по асфальту. Ох и задала Рашуся папочке! После «прогулки» целый месяц я ходила на цыпочках из-за огромных корост на коленках и не могла купаться в Цымлянском море, когда мы с мамой плавали на пароходе до Ростова. А Джеку хоть бы хны: правое ухо как стояло,

так и стоит, а левое, «испорченное», — как висело, так и висит! Он больше всего на свете любит играть с маленьким мячиком. Поймав его, держит в пасти и тогда похож на скворешню с заткнутой дыркой. «Взрослый уж кобель, а всё не наиграется!» — заливается высоким визгливым смехом Лена.

А чем ей ещё позабавиться? Кавалеров у Лены не бывало — и без них неплохо. Всегда горячо защищая свою правоту, она держится до конца и отступает только на заранее подготовленные позиции. Прожив у Фенелоновых пятнадцать лет и так и не научившись «держаться паузу», домработница признаётся: «Дак чё, Рашель Аркадевна, вы — хорошие! Уйду, дак и плохого не вспомню! И сбережения к пенсии есть, и безо всякого притеснения пила и ела. У сестры-те в дому ещё неведомо, как мне будёт! Только вот что скажу... Когда в прошлом году плюшевого пальто мне покупали, сколь раз говорила вам — не чёрно, а коричнево надо. А вы не послушались!» «Так ведь такого цвета не было!» — отвечает раздосадованная Рашуся.

Считает Лена плохо, поэтому всё записывается в тетрадку. У меня тоже с математикой неважно. Тётя Рашель подносит близко к глазам задачник и, водя двумя расставленными пальцами вдоль строчки, читает условия, после чего приветливо спрашивает: «Ну что, Беба, нужно сделать, чтобы получить ответ?» «Умножить!» — моментально отвечаю я. «Подумай, Беба, прежде чем говорить». Задумываюсь для вида на секунду: «Разделить!» Озабоченная тётя Рашель с некоторым напряжением в голосе и повышенной требовательностью задаёт вопрос вновь. «Прибавить», — отвечаю я, скиснув. Рашуся с раздражением произносит: «Ну конечно, осталось последнее — вычесть!»

Больше всего я люблю читать вслух: во-первых, это интересно; а во-вторых — благородно. В газете, в отличие от книжек, написано очень мелко и держать её неудобно. Рашуся лежит в спальне — болят ноги. Рядом на столике — хрустальная пепельница, над которой вьётся дымок, и большая китайская ваза, разрисованная цветами и райскими птицами. «Прочти заголовок», — просит она. «Судьба че-ло-ве-ка», — медленно читаю я. «Беба, ты можешь читать уже не по слогам!» Это правда, ведь я научилась читать в пять лет и только делаю вид, что читаю плохо.

Ну и история! Внутри меня словно что-то начинает застывать, а потом наоборот — становится горячо и хочется плакать. Ужасно жаль мальчика, потерявшего родителей, но не меньше — и взрослого человека. Даже не знаю, кого больше... Какое счастье, что они встретились! А мой папа уже никогда не будет жить с нами. И я прекращаю чтение. «Ты что, Бибка? — Рашель плохо видит, но чувствует, что мне нехорошо. — Ну поди сюда. Скажи, ведь ты рада за мальчика?» «Рада», — безрадостно отвечаю я.

Скоро Новый год. Соберутся гости в комнате за аркой, где стоит старое пианино с пожелтевшими клавишами. Засветятся крашеные лампочки на ёлочных гирляндах, и помчатся в хороводе с Дедом Морозом и Снегурочкой цветные медведи и лисицы, зайцы и ёжики из папье-маше, посыпанные блёстками ватные купцы и купчихи, казаки и казачки, запелёнатые поросята, верблюды, олени упряжки с маленькими эвенками и стеклянные шары с чуть облупившейся краской. Рассядутся гости на диване и в креслах. А подруга тётки Рашели, Елена Михайловна Рутенберг, сядет за пианино, на котором сразу оживут подсвечники с газовыми рожками.

Я тоже учусь играть, пока одним пальцем. Аркадий, проходя из кабинета в столовую, смотрит на меня и улыбается. Все очень хотят, чтобы я стала пианисткой, и говорят, что заниматься на этом инструменте — большая честь.

Ну и напутешествовалось же наше пианино! Однажды, проезжая через Мензелинск, полковой музыкант Шатров остановился в доме отца Аркадия, священника Фенеллонова. Вслед за гостем в комнату занесли и пианино. Хозяева были так гостеприимны, а гость так благодарен, что оставил пианино новым знакомым, устав мотаться с ним по военным дорогам. А ещё на память о встрече — вальс «На сопках Маньчжурии», переписанный от руки на нотную бумагу. Его-то каждый раз перед Новым годом и играет Елена Михайловна.

Что такое сопки, я не знаю, но, может быть, они похожи на дюны? Так и хочется закружиться и с лёгким ветерком, подхватившим меня, перенестись туда и увидеть папу. И маму я давно не видела — она в Ленинграде, на курсах повышения квалификации. Интересно, а что мне купят в подарок? Неужели шерстяное платье, которое я терпеть не могу — оно колется и царапается. А может быть, всё-таки шоколадного зайца?

Наверное, все гости, как обычно, усядутся за накрытый стол, будут шуметь и радоваться: маленький краснощёкий профессор Минкин со специально поставленной для него корзинкой «Боржомии», потому что больше он ничего не пьёт; говорливая Галина Борисовна Лебедевская, врач «ухо-горло-нос», со своим мужем, профессором Лебедевым, который в прошлый раз предложил Лене не особенно заниматься уборкой посуды: «Возьми скатерть с одного конца, а я с другого. И снимем!»; шутник Леонид

Викторович Кац с женой Софьей Соломоновной, которая панически боится Джека (его снова закроют в спальне); инженер Сергей Александрович с женой Еленой Михайловной и её сестрой Тамарой Михайловной, о которых он преданно заботится. Сяду к Минкину на колени, перебегу к Гале Борисовне и покажу ей язык по её же просьбе, Кац потреплет меня по щеке, а Сергей Александрович подбросит вверх.

На самом-то деле мне грустно. Хочу и к маме, и к папе. Но не разорваться же! А ещё хочу в лес. Сесть с кучером Ёкой на телегу, забраться к Максиму под мышку и поехать по зимней дороге, чтобы, как и раньше, выбрать екабпилсскую ёлку — много их в лесу, а моя — одна-единственная. Такая, какой всё равно никогда не будет на Ленина, 81а...

В лодке

По деревянным влажным ступенькам Аркадий Лаврович спускается с дачной веранды. В руках у него две удочки. На мне сарафан солнечного цвета с синими цветочками. Вся его конструкция держится на двух тоненьких ляпочках — оттого и зябко плечам. Над «Байдарскими воротами», открывающими панорамный вид с высоты горы на речку Васильевку, стоит утренний туман. Вниз, к логу, тянутся горбатые избы и огороды с бесконечно зеленоющей картофельной ботвой, баньки по-чёрному и побелому, высокие и маленькие заборы, тщательно вымытые тёплым ночным дождём. Джек скулит нам на дорожку, впечатав длинные лапы в забор.

Идём по главной головановской улице, шмякая сан-

далиями о песок, смешанный с галькой, вниз к речке, где нас ждёт в очередной раз по доброте душевной одолженная лодка. «Чёрт! — досадует Аркадий. — Опять масло забыл!» Я уже понимаю, что оно не для бутербродов.

Вода ещё темновата. Но стоит только добраться до середины Васильевки, как начинает всходить солнце. «Опусти вёсла, Бибка, погреемся...» — мечтательно говорит старый профессор. Солнце освещает реку. В ней, как в супе, полно «заправки». В глубине и на поверхности плавают щепки, обрывки водорослей и планктон — вода цветёт. Вряд ли нам удастся что-нибудь поймать...

И вдруг о поверхность реки ударяется Слово — одно, другое, потом целое предложение, торжественное, звонкое, оглушительно отскакивающее от неё, словно от напружинившегося батута. Аркадий читает из «Цезаря» — это латынь. «Вот как учили в гимназии — помню до сих пор!» — радуется он. И сразу всё оживает: зелёные берега с впечатанными в них деревьями; затон с моторками, избившими друг друга бока; мостки, ныряющие в воду и всплывающие на поверхность. Теперь по этой чудесной реке можно плыть куда угодно — в далёкий Рим, в Прибалтику или к самому истоку Васильевки, пока всё то, что торчит из реки, не остановит лодку. Вот тут-то мы и задерживаемся — недалеко от берега.

«Ну что, Бибка, такая неловкая, опять крючок за корягу зацепила, а запасного нет!» — констатирует сей печальный факт Аркадий. Зато уж он вцепился в рыбалку — не оторвёшь! Становится жарко. «Можно землянику пособираю?» — спрашиваю я. Еле-еле, по тоненьким пенечкам, торчащим из воды, хватаясь за осоку, ранящую пальцы, добираюсь до берега. Так и хочется закружиться на зелёной полянке, хотя ягод нет и в помине. Но зато

неподалёку стоит старый пароход. Снизу он похож на огромный размокший ржаной каравай, который вот-вот развалится.

По трапу забираюсь на палубу. Стёкол в каютах нет, сквозь их раскрытые двери гуляет ветерок. С лопастей свешиваются огромные зелёные водоросли. Чем-то пароход напоминает мне старую мельницу из оперы Даргомыжского. Тогда Аркадий — дикий Мельник, а я — его ненормальная дочь Русалка. Всё-таки зря она из-за князя в воду бросилась, вот я бы — ни за что! Даже из-за любимого шофёра «скорой помощи» Аватиса из маминной больницы. От любви можно только радоваться и стесняться. Так и было, когда мы плавали по озеру у Стабурагского водопада. Говорят, что на нём живут феи и по утрам они катаются по воде на пёрышках волшебных птиц. Озеро соединяется с белыми лилиями, домиками фей, длинными шнурами — ножками цветов. Сначала может показаться, что все водяные дивы похожи одна на другую, но к ним нужно присмотреться — даже феи бывают разные...

Мы подплывали к каждой лилии, Аватис придерживал вёсла, а я заглядывала в лица цветов, краем глаза наблюдая за ним. Лилии были прохладны и отчуждённые — у них своя жизнь. Их острые, словно выровненные ножницами, края не могли поранить, и что-то оранжевое внутри цветов согревало глаз. Волосы Аватиса золотились в мягких лучах вечернего солнца, ясные синие глаза чему-то улыбались. Он был похож на принца, ждущего свою фею, которая ещё не подросла. Мама сидела на носу лодки, смотрела куда-то вдаль и ласково подгробала озёрную воду ладонью. Так и плыли мы среди лилий и любви...

«Бевка!» — Аркадий уже начертыхался и наловился (правда, в банке нет ничего). Плывём обратно, к устью, по парной реке: мокнем, жаримся, потихоньку обгораем. Нос у рыбака покраснел, а веснушки на нём погасли. «Встанем между плотами, тогда не унесёт!» — догадывается он.

Два плота — как два огромных крыла птицы, упавшей в реку. Её головы не видно, только мы, как две головёшки, торчим над поверхностью воды. Стоим почти у стрелки, там, где Чусовая с Васильевкой соединяются и впадают в Каму. Полдень. Ну какая рыба клюнет сейчас? Вероятно, это и не важно. «Ты не торопись...» — Аркадий запекает бесконечную песенку: ария Герцога из «Риголетто» плавно переходит в вальс из «Фауста», затем резко — в марш из «Аиды» и, наконец, в трагическую арию Пиковой дамы. Ну и наслушался же он этих опер!

Рыбак смотрит в сторону реки, а я — в сторону плотов. Расстояние между ними уменьшается. Наша лодка, как беспомощная селёдка. «Аркадий, смотри — они сходятся!» — с тревогой говорю я. «Это тебе кажется», — отвечает занятый безуспешным промыслом профессор. Какое легкомыслие! С недетской силой отталкиваю лодку, упираясь в края плотов руками. И два крыла мгновенно соединяются в одно. От толчка плюхаюсь в утробу реки, с наслаждением принимающую меня. Хорошо ещё, папа научил плавать: бросил в Даугаву, пока не видела мама, — я и поплыла!

Вцепившись в борт лодки, кашляю, выплёскивая струю воды, плююсь и сморкаюсь. «Чёрт-те что, абракадабра какая-то!» — ругается перепуганный рыболов, затаскивая меня в лодку. Мою кожу словно покалывает иголками — обгорела, точно обгорела. «Пора, мой друг,

пора!» Куда там! Приходится ждать вечернего лова. «Ближе к сумеркам карасей полно»,— уверяет бессердечный рыбак.

Волны мягко переливаются на закатном солнце. От неизбежности потихоньку переключаюсь на рыбалку. Работаем на пару. Толстые кругленькие пузатенькие рыбки, словно медные пятаки, шлёпаются в банку. И вдруг из сумерек, прямо перед нашим носом, появляется «Летучий Голландец», несущийся прямо на нас. Из утлого судёнышка он кажется гигантским. Нам не видно ничего, кроме возвышающегося над волнами железного носа. Пятками упёршись в дно лодки, хватаюсь за вёсла. Мускулы наливаются. Вижу только раскрывающийся рот Аркадия: «Правым, правым, правым, правым! Двумя, двумя, двумя!»

Возвращаемся ночью, дача полыхает огнями, как костёр. Джек стоит, упёршись в калитку лапами, и скулит. У Рашуси трясутся руки. «Мы немножко задержались»,— пытается оправдаться Аркадий, ставя удочки у перил веранды. Тётя Рашель пока ещё не знает, что его главный улов сегодня — это я!

Часть 3 Разгуляй

Времена года

Мы с Татищевым разминулись на каких-то два столетия, но оба, каждый в своё время, связав судьбу с Егюшихой, ощутили перспективы. Василий Никитич «подтолкнул» горнозаводскую цивилизацию, заложив медеплавильный завод. Я опозитизировала её сердечную мышцу — Разгуляй. В любом случае, наша встреча была эпохальна и неизбежна.

Бесконечные переходы «святого семейства» с Ленина, 52, на Ленина, 81а, заставили, наконец, родственников принять на очередном семейном совете решение о безоговорочном и немедленном снятии квартиры для новой независимой ячейки общества — меня и мамы. Так и осело моё отрочество на Парковой, 14, в дореволюционном доме, стоящем между тупиком городской жизни и непредсказуемой Мотовилихой. Около него-то и поворачивали трамваи, идущие через старый мост, а обратно — через тот же мост — шли регулярные похоронные процессии.

С очередными звуками утешительных оркестров, содрогаясь с непривычки, я всё же решалась выглянуть из окон второго этажа, на котором уже сложился творческий микроклимат. При беглом взгляде сверху нельзя было не заметить некоторых подробностей траурных шествий: в замедленном или ускоренном темпе они двигались, какое примерно количество участников проливало слезу, много ли уже было «неустойчивых». Представлений о потустороннем мире явно не хватало. Побеждало светлое начало — покойники мне не снились никогда.

«Последний приют» был квинтэссенцией «райцентра». К городской достопримечательности примыкали огороды садоводов-любителей, тюрьма и несколько колонок, расположенных на почтительном расстоянии друг от друга. Чуть подалее находились трамвайное депо, завиток трамвайного кольца и базар.

Прямое предназначение «объектов» порой отходило на задний план. На кладбище проходили сдачи зачётов по физической культуре школьников из близлежащих образовательных учреждений, а также студентов сельскохозяйственного института. Огороды садоводов-любителей, расположенные в логах под кладбищем и старым мостом, радовали богатыми урожаями. Из-за тюремных стен на наши головы сыпались записки с просьбами, призывами о помощи, угрозами и даже признаниями в любви. Колонки ломались и замерзали, особенно в сильные морозы, так что о живительной влаге, перебежав все одну за другой, приходилось только мечтать. Трамвайное депо, освещая Разгуляй огнями и сполохами бесчисленных сварок, переносило в последний акт «Лебединого озера» с грозой и Злым Гением, использующим в своих неблагородных целях световые и пиротехнические штучки. Во всяком слу-

чае, в трудовых буднях предприятия было что-то inferнальное. Трамваи, поворачивая в кольцо, проезжали всем жителям «райцентра» по зубам. На деревенском базарчике пахло так вкусно и всего было так много, что хотелось купить как раз то, на что не хватало денег.

Нельзя не вспомнить о приводивших в неведомый трепет церквах... Самая ближняя из них (ныне — Успения Божией Матери), полуразрушенная, заглядывающая с пригорка на старый мост, опекалась кладбищенской сиренью. На взгорье, у порога Камы, стоял первый и наироднейший собор Петра и Павла, в разбитом и низвергнутом приделе которого школьников заставляли метать учебные гранаты на уроках всё той же кощунственной физкультуры. И, наконец, единственная, использовавшаяся по назначению, самая дальняя, расположенная с правой стороны лога, — Всехсвятская новокладбищенская церковь.

Несмотря на некоторые специфические особенности, Разгуляй строго подчинялся законам природы. Зимой нужен был глаз да глаз! Валил снег, грозивший упрятать его до макушки. С утра пораньше или с вечера попозже огребались: кололи лёд ломом, скребли, подхватывали, тужились, поднимая и переваливая через сугробы взрослые и детские деревянные лопаты, сморкались, кашляли, ледяной рукавицей смахивали слезу с разгорячённых щёк. Ругались редко.

Топили печи. Дым шёл прямой — к морозу или рассеивался, валил клубами — к потеплению. А снег был чист. На нём отражался по вечерам свет, падающий из окон и попавший в зависимость от абажуров: оранжевых, жёлтых, красных, с тенями длинных кистей, нависших над уютными столами. В комнатах вкусно пахло щами, приготовленными в печи, картофельными шаньгами, ягодно-

ми киселями, припасами, принесёнными из кладовок, — солёными грибами и капустой, яблочками, сваренными на меду. Каким гостеприимством веяло от домов! Но в них нужно было ещё уметь попасть. Лестницы и сенки сводило от холода, становилось катко, и ноги страждущих добраться до дверей, ведущих в домашний рай, взбирались по ступенькам и скользили по коридорчикам с единственным желанием — остаться невредимыми. В сарайках тряслись от холода и прятались в клетках друг от друга кролики, обитатели многих дворов, — в Разгуляе любили крольчатину.

А безумные ледяные горы, нависшие над логами с их незамерзающими ключами, стекающими в Егошиху! Они принимали полёты и падения лыж, грохот санок, посвист дощечек, опекающих детские зады, весёлый смех и слёзы, пролившиеся над разбитыми носами и губами. Над ними витал дух рождественских праздников — мандариновый запах и шелест фантиков от конфет, оставшихся от подарков, извлечённых из-под волшебных ёлок, и взятых про запас на зимнюю волю, чтобы была ещё слаще.

А как хороши были зимние сады! Днём — в белоснежных лапах, в которых запуталось холодное солнце, со следами спелогрудых снегирей и позванивающей от ветра словно маленькие колокольчики китайкой, окованной ледяной оболочкой. Лунными ночами сады рождали своих двойников у каждого дерева и куста. Как благодатны и глубоки были нерукотворные сугробы, принимающие в свои объятия! Упав в них, мы обращали отроческие лица к Млечному Пути, не пытаясь найти на нём свою тропинку, а с единственным желанием — услышать тишину и ощутить покой и ясность Божьего промысла. Только нам

сияли многочисленные рождественские звёзды. И так до самой весны...

С её приходом в раскисших двориках пускались в плавание доски — до калитки и обратно, — как хотите, так и выбирайтесь! Но зато в каждом из них распускалась верба, и солнце, радуясь вместе с нами, умудрялось проникнуть через паутинки оконцев в чуланчики и кладовки, за печку и под стул. Оно дрожало, переливалось, перекачивалось золотым шариком куда вздумается. Волны света гуляли по горам подушек, покрытых белоснежными кружевными накидками; по молочным кисейным покрывалам с проступающими на них небесными лилиями; по настенным коврикам с лебедями и замками, в которых зажигались диковинные луны над ночными озёрами и огни в башнях; на домотканых половиках и круглых половичках, досыхающих у порогов, сладко пахнущих прибитой пылью.

В солнечной яви оживали и вышивки многочисленных домашних рукодельниц, созданные по мотивам русского фольклора и зарубежной классики: Алёнушка с волосами василькового цвета, жёлтая ступня которой соприкасалась с озерцом заборного оттенка; Ромео и Джульетта, заключившие друг друга в нечеловеческие объятия и смотрящие на хозяев сведёнными к переносице глазами из чёрного и белого мулине; непрозорливая Красная Шапочка в возрасте перезрелой девицы, фосфоресцирующая ногтями и ведущая беспросветный диалог с Серым Волком, покушавшимся только на то, что было у неё в корзинке... Оттеночных ниток хронически не хватало.

Весна заканчивалась весёлым тёплым дождиком, под которым блаженствовали коралловые червяки, чудом выбравшиеся из-под осевших дворовых досок. Вот тогда-

то и превращался Разгуляй в божественный фиал! Сразу же в наши окна заглядывали яблони. Сколько их было, этих розово-белых уст-недотрог, дарящих первозданную свежесть! Мы и не мечтали о яблоках — хотелось длить жизнь ветвей и цветов. Один сад шептался с другим и каждый хранил свою тайну.

И наконец приходила Сирень! Её шествие опрокидывало всё, что называлось Разгуляем. Она заключала его в объятия, лелеяла до умопомрачения и, разбушевавшись вконец, забывала о нём, опрокидывая на дно егошихинской чаши и прорываясь в высоту. До безумия доводила персидская: было не до поисков Счастья — мы только и делали, что ныряли в неё с головой, забывая про головную боль и предостережения взрослых. Игры Сирени казались бесконечными. Мы посягали на домашнюю, драли кладбищенскую и из логов, ставили в банки, вазы, кувшины и большие кастрюли на столы, буфеты, тумбочки и этажерки, превращая комнаты в сады Эдема.

Вслед за Сиренью произносила своё слово Земля. Изпод досочек, остатков полениц, скамеек, проржавевших леек и дождевых ванн вырывалась Трава. Она желала только одного — затянуть Разгуляй до пупа. Удивляя молодой силой, стремилась поглотить цветы, оторопевшие от неожиданности; делала невесомыми садовые беседки, лишая хозяев возможности видеть их опоры. Мы играли в мячи и лапту на лучших зелёных коврах, не боясь порезаться стеклом или краем консервной банки; переполненные дождевые бочки служили нам чистыми зеркалами и роскошными ваннами. Опутанный дворовыми паутинками и приглушённый травами Разгуляй погружался в летний полуденный сон в ожидании Спелости. О ней оповещали обрывки весёлой речи, доносящиеся из садов, звон

вёдер и крышек, падающих с бидонов. Собирали всё подряд: викторию, вишню, смородину и крыжовник всех мастей. В августе начинался Яблокопад. Пространство садов напрочь забывало о покое: трясли ветки, обрушивая плоды в вёдра, тазы и, наконец, просто на землю. Но лучшими из многочисленных были только те, медовые, с янтарными прожилками, хранящие маленькое солнце в каждом из них.

Из раскрытых окон доносились обрывки заботливой речи, звенели поварёшки, хлопали крышки кастрюль и дверцы кухонных шкафчиков, грохотали двери чуланов. Какофония звуков преобразовывалась в симфонию запахов — варили варенье, и весь «райцентр» превращался в уютную чистенькую кладовку с аккуратно покрытыми газетами полками, принимающими на себя ответственность за хранение всей тяжести и спелости вверенных им ароматных сокровищ до будущей плодово-ягодной неразберихи. Грибы солили втихаря и не очень хвастались этим — оставляли лакомства для себя и хороших гостей.

И, наконец, со стуком школьных башмачков по асфальту приходила Золотая Осень. Вместе с ней рыжел и еле-еле вылезал из дворовой будки лохматый Рекс. Всё длиннее становилась дорожка от дома до учебного расписания. Щурились, останавливались, вертели портфелем у каждого столба — у трамвайного депо, короткого, засыпанного листьями скверика, — пока не упирались в школьную дверь. В неё с упоением уносились с улицы распахнутые, как ладошки, кленовые листья для закладок в учебниках. И все мы, дети Разгуляя, ждали последнего в этом году чуда. На фоне предстоящего тривиального капустного засола — с бочками, гириями, мож-

жевеловыми ветками — чудо было возвышенным и ослепительным.

Перед ноябрьскими праздниками по крыше депо начинал ходить маленький трамвайчик. Он был побольше игрушечного и несравненно меньше настоящего — единственный в своём роде. Казалось, что его дорога вперёд и назад будет вечной. Над кабиной водителя развевался красный флажок, внутри сидели куклы. Но даже из моих окон, выходящих прямо на крышу, по которой совершался загадочный маршрут, невозможно было разглядеть, кто ведёт и кто наслаждается поездкой. Как-то, в ночь очередного праздника, он сгорел от короткого замыкания, а вместе с ним — безвестные пассажиры, безропотно разделившие его судьбу. Трамвайчик был детищем Разгуляя, частью его стихии, неизвестно откуда взявшейся, неизвестно на что растраченной, — целой жизнью, меняющей поколения на поколения внутри своего замкнутого и сокровенного мира.

Разгуляйские тайны

Хлопает щеколда, и дверь, ведущая во двор, покрытая вечерней изморозью, открывается. По двору ходит девочка в пушистой белой шапке, короткой шубке из китайского меха и в валенках. Она держит за две лапки кота и водит его перед собой. Переступая по расчищенной от снега дорожке, подняв мордочку, кот преданно смотрит в хозяйкины глаза своими зелёными очами. Шерсть кота чёрная и гладкая, переливающаяся под лунной, зовут его Мулат. Вера — хозяйка кота — единственная девочка в этом дворе, теперь прибавилась ещё и я.

Живём мы за стенкой, так что можно и перестукиваться, когда захочется.

У нас с мамой маленькая кухонька с печкой и полатами, ведущая в комнату. Всё уже расставлено по местам — железная кровать с горкой подушек, кружевной накидкой и бухарским шёлковым покрывалом; старинные каминные часы из чёрного мрамора с позолоченными стрелками на белоснежном циферблате, стоящие на лаковом столике с открывающейся крышкой; ночная лампа с матово-розовым стеклом, напоминающим по форме створки раковины и переходящим в расписанную голубыми цветами нижнюю фаянсовую часть, где «живёт» электричество. Посредине — круглый стол с нависшим над ним оранжевым новеньким абажуром, на стене у маминого дивана — огромный азиатский ковёр вишнёвого цвета, с расцветавшими на нём узорами. Впритык к стене стоит пианино, на полу около него — пачки книг: их пока некуда поставить.

Вот и приехали на новую квартиру... Хорошо, хозяева Жунёвы хоть дровишек дали, а то бы замёрзли — где их в декабре достанешь! Тётя Зоя работает в банном киоске. У неё золотые зубы, и она всегда улыбается. Кто знает, может быть, и в самом деле добрая? Так начинается моя новая жизнь: ношу дрова, вместе с мамой топлю печку. За водой надо бегать на колонку — беру коромысло, два ведра и, как девица-красавица, иду, позвякивая ими. «Тихонько неси, — учит меня Верин папа, дядя Серёжа, — не плечи, а то замочишь валенки!» Мама не разрешает мне носить полные ведра, но я всё равно это делаю — кому захочется ходить по колонкам? Пока найдёшь воду — сам в сосульку превратишься. «Скорее заходи, — торопит мама, — тепло уйдёт!»

Сегодня воскресенье, сейчас истопим печку и поставим в неё жаркое — в этот раз полная кастрюлька. Не то что в прошлый, когда пробежала мышь... Мама закричала, схватила кастрюльку, вскочила на стул, не устояла на нём и шлёпнулась, перевернув на себя картошку, морковку, лук и мясо. Ох и хохотали мы потом!

Не так уж много у нас места, но если очень понадобится — найдётся! По вечерам я начинаю прыгать на пружинной кровати всё выше и выше, а потом изображать всех родных и знакомых: Мусю с её ангельским видом, Аркадия — как он играет с Джеком, нянечку из госпиталя Марию Фёдоровну, которая остаётся со мной, когда мама уходит на ночное дежурство. Головка у неё — как Пизанская башня, ножки — как щепки и кривенькие, а сама она похожа на маленькую воблу, но вид у Маруси всегда очень строгий, хотя я-то точно знаю, что она добрая. Во время войны была медсестрой и спасала раненых, а потом работала в Нытвенском детском доме. Вот и на меня недолго сердится. «Матерь придёт утром — пельмяни в углу!» — назидательно говорит «опекунша». Пельмени, настряпанные ею при моей искренней помощи, действительно лежат на досочках в углу сенок, закрытые сверху газетами.

Иногда со мной остаётся и пенсионерка-повариха Мария Павловна. Она высокая, пышная и гордая, а майонез называет «эмтээсом». Мария Павловна — вдова комиссара, а дети её все умерли ещё маленькими. Я люблю к ней прижиматься, особенно к животу. С её приходом в нашем доме сразу становится уютно: пахнет луком, потом котлетками, иногда толчёной картошкой, предназначенной для шанег, от которой поднимается пар. Ничего не оставляем на потом — едим с утра до вечера и радуемся хорошему аппетиту. А ещё гадаем. «Ну-ка,

переверни, — говорит полупрофессиональная гадалка, разложив карты, — своей рукой надо! Не иначе, Бебочка, ждёт тебя успех!»

«Успех» приходит скоро. На уроке литературы нам задали писать сочинение по картине художника Левитана «Владимирка». Ну что — дорога как дорога, ничего особенного... Оказалось, что по ней гнали в Сибирь несчастных декабристов и революционеров. Вот тут-то я и развернулась! У преподавателя литературы Людмилы Ивановны Чиркиной создается впечатление, что я тоже побывала на каторге, — так образно и ярко были описаны перипетии путешествия героев. Но литературный успех плавно перешёл в подозрение. Не обнаружив на моих ногах признаков кандалов, славист закончила небольшим допросом на тему «Где, у кого и при каких обстоятельствах списано сочинение?»

В это время мне уже шили новогодний костюм Снегурочки, ведь чёрные глаза, две чёрные косы, смуглое лицо — просто идеальный вариант для дочери Деда Мороза в госпитале инвалидов войны. Впрочем, всё это впереди, а пока — потрескивают дрова в печке, ритмично танцуют тени на противоположной стене, тикают дедушкины часы, издавая мелодичный звон. Самое время посидеть у огня и помечтать...

Вчера дядя Серёжа принёс домой ёлку, а потом пролетел по двору с большим ящиком под мышкой — значит, готовится к Новому году. Вера называет папу «Понец», может быть, потому, что он быстро бегаёт; но на пони он совсем не похож — скорее на ракету, от которой в глазах остаются только разноцветные искорки. Ну и летает: в сарай — за дровами, к клеткам кроликов — дать корм, с огромными санками — неизвестно куда и зачем. Понец

похож на длинную спицу, а лицо у него вытянуто, как восклицательный знак. Он смешно картавит, обо всех новостях узнаёт первый, всему рад, над всеми подшучивает, а дочку Веру — обожает. И ещё очень интересуется жизнью майора Пронина, описанной в журнале «Огонёк». Когда Понец не может достать её «продолжение», то вместе с нами ходит на площадь к заводу Дзержинского, где радио оповещает о новых подвигах майора, о которых мы узнаём с замиранием сердца.

Одного не могу понять — зачем ему этот майор, когда в домашней библиотеке у Лапшиных есть такие книги, что с ними можно голову потерять: Майн Рид, Вальтер Скотт, Жюль Верн и особенно двухтомник «Мужчина и Женщина». Эту энциклопедию мы с Верой смотрим днём, когда все на работе. Оказывается, мужчины и женщины живут во всех частях света; среди них есть совсем дикие, а есть и образованные; встречаются и очень страшные — это папуасы, у них на голове перья вместо шляп, а в руках вместо портфелей и хозяйственных сумок — стрелы и горшки. И ещё в энциклопедии написано, что мужчины и женщины «созревают». Это что, как плоды на дереве или овощи в огороде? Цветные картинки спрятаны под белой папиросной бумагой, которая прилипает к пальцам. Пока я стараюсь открыть очередную, Вера смотрит в окно на входную дверь.

Один раз нас чуть не застучали; правда, тогда у меня дома мы рассматривали справочник прабабушки Цецилии Яковлевны «Акушерство и гинекология», который я достала из заветного сундука. Там женщины были разрезаны вдоль, а в животе у них — как рогалики — разместились «плоды». Неужели бедным матерям так достаётся, прежде чем они родят ребёнка? До замужества

нам с Верой далеко, но напугались мы сильно, а тут ещё раздался стук в дверь. Это пришёл сосед дядя Коля жаловаться на нас моей маме. Он никогда не ходит один, рядом всегда овчарка Марта. К нам во двор и так-то нас боятся показать, а чтоб было понятней, почему у нас так страшно, мы с Верой немножко заклеили табличку «Осторожно, во дворе злая собака!», сочинив другой, более правдивый конец — «Осторожно, во дворе злой дядя Коля!» Наш сосед всегда угрюмый и везде суёт нос, а его бедная жена с приёмной дочерью даже цены на книгах стирают резинкой и ставят новые, поменьше. Ему ещё повезло, что мы не такие озорники, как Макс и Мориц, которые воровали крючками через трубу у повара жареных цыплят, подсыпали порох в трубку пастору или сажали под подушку жуков. Ну, через дырку к нему в коридор бросим разок-другой бумажки да камешки — это же мелочи! Хотя однажды связаться с дядей Колей всё-таки пришлось...

«Знаешь, Бибка, а у Тamarки Зуевой, говорят, хвост есть», — таинственно оповестила меня Вера. Изумлению моему не было конца. Хвосты я видела только у чертей на переводных картинках в Екабпилсе да слышала о них из Лушиных рассказов. «Слушай, давай яблок нарвём. Мы Тamarке — яблоки, а она нам хвост покажет!» Плоды созрели пока только на дяди Колиной яблоне — той самой, где яблоки с медовыми прожилками. Вера уже стоит с длинной палкой, а я — на стрёме. Бум, бум, бум — яблочки чокаются с землёй. Здорово получается! Вместо того, чтобы смотреть на проход между кустами, ведущий от дома, я слежу за ловкими упражнениями по сбиванию цели. Первая партия уже растолкана за пазуху, и вдруг вижу окаменевший Верин

взгляд. В кустах, напротив нас, оскалившись и часто дыша от жары, стоит Марта, а рядом — ну очень злой дядя Коля.

Несёмся ко мне и, захлопнув дверь, забрасываем яблоки под лестницу. Наш преследователь требует открыть — открываем... Он поднимается, осматривает кухню, заглядывает на печку, в кастрюльки, в шкафчики, под диван и кровать. Ни-че-го! Поводя глазами, спускается по лестнице вниз, хлопая дверью. Извлекаем из подполья золотые плоды, обтираем приставшую к ним грязь, складываем их в сеточки, пристёгнутые на булавки изнутри к шароварам. С ангельскими лицами проходим по двору, еле шевеля ногами.

На старой веранде Тамаркиного дома, в отсутствие посторонних наблюдателей, совершается торг... Хвост у Тамарки крохотный и без шерсти, не то что у нарисованных чертей. Стоило ли из-за такого страдать?! Правда, вряд ли где-нибудь ещё увидишь подобное! «Расстроились? — с сочувствием говорит соседка, принимая фруктовый дар. — А у меня вот ещё что есть!» Ну и пальчики! Два из них — на правой руке — как детские пирамидки из кругленьких шариков, поставленных друг на друга, — так и хочется их разобрать! Даже в двухтомнике «Мужчина и Женщина» такого не найдёшь!

Вдруг раздаётся стук топора. Почти прямо над нами на дереве, в соседнем саду за забором, сидит сосед Постников и рубит под собой сук. Лицо его печально, домашние тапочки болтаются над ветками. «Опять! — хихикает Тамарка. — Побегу его жену звать, а то как срубит — упадёт». У Постнятки веток на яблоне осталось не так уж много, а «скорая помощь» приезжала только вчера. «Это ещё что! — по секрету говорит Вера. — Он или сучья под

собой рубит, или бегают к базару «пожарку» вызывать, когда Козлов с Бутиковым дымовуху бросают».

Но вообще-то у нас в Разгуляе всё нормально — цветут-расцветают сады, радуются дети, волнуются взрослые, ласкаются кошки, лают собаки... А где не бывает исключений?

Ленина, 7

Эта улица прошла лейтмотивом по всей моей пермской жизни. В самом начале её стояла образцово-показательная школа № 95, в которой училась егошихинская шпана, проживающая в логу мебельного завода и на горе, возвышающейся над ним. Ходили в классы и внешне умиротворённые дети, жившие недалеко от старого моста, напротив кладбища, с разных его сторон, у тюрьмы с оторвавшимся от неё садом Декабристов, у крохотного базарчика, примыкающего к трамвайному кольцу. И все вместе мы бегали в булочную с подгнившей деревянной верандой, в которой кондукторы меняли мелочь, и занимали длинную очередь за квасом к единственной на весь Разгуляй бочке.

Встречаясь на улице, мои сверстники мирно кивали друг другу головой, но в школе у них начинались фантазии. Особенно у одноклассника Вальки Хлыбова, третьгодника, невесть откуда свалившегося на голову педколлектива. Всегда утомлённая литераторша Людмила Ивановна Чиркина как-то дала задание — составить предложение со словами-исключениями: бульон, павильон, почтальон, медальон. В классе на последней парте уже сидела директор школы, волею судьбы оказавшаяся ря-

дом с Хлыбовым. Отреагировав на задание, он первоначально завис в пространстве и, наконец, со всклокоченной головой, кратко отписавшись, самодовольно осмотрелся. Заглянув к соседу в тетрадь, директор схватила её и устремилась к доске. «Вы только послушайте, что он написал! — возмущённо воскликнула она. — «За рекой растёт высокий бульон!»» А между тем возмущаться не стоило, ведь Васька, как выяснилось позднее, был из детского дома и бульона не видал. Однако имел представления в другой плоскости...

Ходить в школу было опасно для жизни. Об этом вряд ли догадывались наши родители — жаловаться и стучать не полагалось. Зато уж и отрывались наши мучители по полной программе... Прежде чем сесть, необходимо было за секунду до посадки стремительно оглядеться, чтобы не шлёпнуться на чернильницу, подставленную соседом; держать одну руку наготове, чтобы сидящий сбоку не ущипнул тебя, а если это и произошло — успеть дать ему сдачи; не особенно крутить головой, чтобы не попали из рогатки скатанным слюнявым куском промокашки.

После уроков редкая птица могла долететь до входных дверей — по краям лестницы, ведущей к ним, стояли наши кавалеры, от «внимания» которых можно было полететь вниз головой. Но ещё больше, чем нам, доставалось от них преподавателям: прятались в химические шкафы и мяукали; ставили швабру у классных дверей перед началом урока; привязывали сломанный стул к учительскому столу, а под него — полное ведро; задавали сногсшибательные вопросы.

Всех молодцов могла запросто положить на лопатки Ирка Оборина. «Анна Николаевна, любовь моя!» — обращалась семиклассница к математичке, стремительно

уменьшавшейся в размерах. Взгромоздив ноги на парту, стоящую перед ней, и предусмотрительно убрав то, что мешало впереди, она решительно требовала: «Ставь пятёрку!» «Успокойся, Ира, успокойся, — терпеливо реагировала бедная учительница, — вот подучишь материал — и поставлю!» «А мне надо сейчас!» — настаивала чёртова девка. Ирка курила, дралась, ругалась, но была и мечтательна. «Ну чё, Зефир, — снисходительно обращалась она ко мне, — мать-то твоя когда достанет сонный порошок?» Ей не терпелось подсыпать снотворное в графин с кипячёной водой, стоящий в учительской.

Мы видели «небожительницу» не так уж часто, гораздо больше времени она проводила в кабинете директора, но иногда всё-таки появлялась на уроках, и все с затаённым дыханием ждали очередной выходки. Повесив над доской старый бюстгальтер, Оборина могла озадачить вопросом мгновенно покрывающуюся красными пятнами англичанку: «Мария Ильинишна, это не ваш случайно?» Но однажды Господь всё-таки наказал грозу егошихинских хулиганов.

Как-то золотой осенью собирали мы картошку в Осенцах. Не успев приехать, Ирка бросилась к небольшому озерцу. Скинув физкультурное трико, она оказалась в трикотажных панталонах розового цвета, в которых и нырнула в оцепеневший от неожиданности водоём. Вынырнув и взойдя на берег, посиневшая школьница на минуту повернулась к одноклассникам спиной, чтобы поднять одежду, не успев прочесть в наших глазах неизбывный восторг. Через облепившие зад панталоны просвечивала вырванная из дневника страница с огромной «парой». После этого авторитет Ирки резко пошатнулся. У меня общим с ней был только забор. По-сосед-

ски Оборина относилась ко мне не так уж плохо, снисходительно называя «Зефиром».

В то время я и вправду напоминала бело-розовое круглое кондитерское изделие, употреблявшееся подругами на сладкое в своё удовольствие: «Ты сказала маме, что получила пару по математике?» «Нет», — отвечала я, скиснув. «Так вот походи и скажи», — требовали они. Мама пользовалась услугами Веры и Нины негласно — следить за мной всё равно больше было некому — зато ей приходилось идти на поводу у малолеток.

Перед Новым годом моим одноклассникам захотелось превратиться в лебедей из балета Чайковского. Тут же костюмерная хореографического училища, примыкавшая к госпиталю инвалидов Великой Отечественной войны, где работала мама, поставила три балетные пачки с головными уборами, напоминавшими отходы от старых пуховых перин. Надо заметить, что наши формы далеко не соответствовали размерам костюмов. На Вере — вылитом Кашее Бессмертном — пачка болталась. Мне пришлось глубоко выдохнуть и задержать вдох до головокружения, пока застёгивали петли сзади. Да и вообще, я напоминала скорее не лебеда, а молоденькую гусыню, предназначенную для жаровни. Только одной Нине, похожей на девочку с лубочной открытки, пачка пришлась впору. Ко всему прочему, вместо балетных косков наши ноги осквернили чёрные физкультурные тапочки.

«Лебединая тройка» вызвала недоумение у одноклассников. И неудивительно! Среди зайцев, медведей, Котов в сапогах, Красных Шапочек и Серых Волков, колокольчиков и бесчисленных снежинок мы казались неведомыми пришельцами. «Вы кто?» — спрашивал противный,

вечно сопливый Морозов из параллельного класса, когда Вера с Ниной чистили пёрышки перед зеркалом.

В это время я уже была влюблена в Борьку Козлова. Так думали все, даже ботаничка Аксиния Павловна, которая только тем и занималась, что следила, сколько раз за урок я посмотрела на одноклассника. Чем приглянулся мне Козлов — остаётся загадкой до сих пор. Фрейда я тогда ещё не читала, но, очевидно, дело было в «Оно». Борька был белокурый, как бестия, на голову выше сверстников и, как Байрон, угрюм. Его мать торговала цветами и работала на проходной в оперном театре. На колонке она появлялась во всём рваном, а на работу ходила во всём шикарном. Летом Борька маялся на огороде с лейкой, поливая цветы. Наверное, потому я и сжалась над ним.

Во всяком случае, именно в седьмом классе нашёл продолжение мой роман с «романом в стихах». Однако довольно долго пришлось выяснять, насколько же взаимна любовь. Мы так и переписывались Пушкиным: я ему — кусок из письма Татьяны, а он мне — кусок из письма Онегина. Наконец Борька пригласил меня в кино, на «Мёртвые души». Это было первое наше свидание. Во время сеанса я только делала вид, что смотрю на экран, где мелькали Чичиков, Плюшкин, Коробочка, Ноздрёв. На душе было незнакомо и торжественно. А потом мы пошли на Каму — не держась за руки, не смотря друг другу в глаза, не обнимаясь, не целуясь, не разговаривая и вообще не зная, зачем мы туда идём, — пока не началась гроза. Вот тут-то мы и поняли, как это здорово — стоять в грозу над Камой вдвоём!

Всё испортили Вера и Нина. «Ты где была? Мы заходили не один раз!» — ехидными голосами поинтересо-

вались они. «Обедала у мамы в госпитале». «А если мы у неё спросим?» Я ещё пыталась быть убедительной, но, как выяснилось, кругом были одни стукачи. Сосед Борьки Юрка Бутиков донёс Нине, а та — по цепочке. «А ещё подруги... — думала я, обидевшись по-настоящему. И успокаивала себя: — Да что они понимают в любви!» Мама посадила меня под домашний арест, напомнив о том, что мой избранник — ужасный хулиган. В связи с этим она угрожала мне различными катаклизмами и даже заставила себя подумать, а стоит ли брать меня на пароход до Ростова.

«Не лишаться же мне Борьки?..» — горестно думала я, спускаясь с высокой дамбы от гастронома. В моей сетке лежала бутылка уксуса, купленная по просьбе смягчившейся мамы, наконец выпустившей меня на волю. А он уже нёсся мне навстречу на велосипеде. Испугавшись компромата, я рванула через дорогу на другую сторону и... попала под велосипед. В чувство привела уксусная эссенция. Пошевелив руками и ногами, оказавшимися целыми и невредимыми, я оглянулась и, к огромному удивлению, обнаружила осколки бутылки и лежащего в забытьи велосипедиста. Нет, это был не Борька, а другой, опередивший его!

Позднее наши мамы сошлись у барьера. «Ваш сын пока не даёт. Тоже мне, кавалер!» — гневно выговаривала моя садоводу-любителю. «Сама за ним бегает, да ещё и стихи пишет!» — покрывалась испариной его, нелицеприятно отвечая врачу инвалидов. После этого агентура активизировалась. Наше расставание стало неизбежным.

Через год «Борины записки» обнаружила Верина мама. «Как пишет!» — позавидовала она. «Пушкина надо читать!» — посоветовала я.

Дары Лапшиных

Такой кружки, как у Веры, я не видела никогда. Она высокая, разрисованная оранжевыми лилиями с длинными ножками, а наверху написано: «Напейся, но не облейся». На кружке множество дырок, а знать нужно только две: ту, которая на внутренней стороне ручки — закрыть; из той, которая сбоку — пить. Хотя и говорят, что нужно знать много, но не всё в жизни может пригодиться. Вот живёт пианист Ангелов за моей стеной, квартирант Лапшиных, похожий на размокший батон, а знает только то, что ему надо, — днём репетирует дуэты с виолончелистом, а ночью пишет оперу «Вий». Стена между нами давно растворилась. Плыву с золотыми листочками по лунной реке и замираю от ужаса с каждым новым диссонансом — секунды малые и большие похожи на скачки ведьмы, сидящей на Хоме и берущей разбег. Для композитора это «проба пера», а я ночью покрываюсь холодным потом. Наверное, Гоголь и написал «Вия» для того, чтобы Ангелов мучил меня.

Недавно я тоже решила испытать себя и сделать торт — вылила в кастрюлю банку клубничного варенья, смешала его со сливочным маслом и мукой, переложила в круглую чудо-печь. Не сказала бы, что всё испеклось как надо, но перемешалось хорошо, хотя и пристало ко дну. Вера и Нина расхваливали, ели ложками, запивая кипячёной водой. Увлёкшись процессом, я решила сделать и пельмени. Развела водой муку, замесила, раскатала и стаканом прорезала кругляшки, открыла десять банок консервированной сайры, как могла хорошо раздробила её, упаковала как полагается, побросав весь «приплод» в холодную воду. Когда вскипело — получился суп.

Ничего, мама тоже картошку чистила в перчатках, и кожура была в палец толщиной, а было ей 33 года, — больше ничего не умела. Всё из-за того, что прабабушка Цецилия Яковлевна постоянно выгоняла её с кухни: «Нечего тебе тут, Женечка, делать, нечего...» Но я не хочу быть барыней, ведь чему-то должна же научиться. Вот Верина мама, тётя Валя, умеет самое главное — стряпать рогалики. У меня просто голова кружится, когда я смотрю на тарелки, на которых они так и дышат. Рогалики из тоненького теста, закатанного и перевязанного, как концы платочков. Они посыпаны сахарной пудрой, а внутри спряталось повидло. Из той самой кружки тётя Валя пьёт правильно. Сначала всегда нужно подумать! Но я живу чувствами и думать мне абсолютно некогда, поэтому с математикой никуда не годно. Задач я в жизни не решала. За меня и за Веру это делают наши мамы — по отдельности. Поскольку моя — тоже не Софья Ковалевская, сходимся у Лапшиных.

Дроби мы ещё не проходили, но у моей мамы ответ всегда с запятой: «Подумаешь, Беба, ведь это почти правильно. В конце задачника написано пятьдесят три, а у нас немного больше». Тётя Валя дотошнее. Посмеиваясь, она начинает свои медленные «примерки» — так и сяк поставит числа, переставит куда надо путешественников, идущих из пункта А в пункт Б, или перекроет трубу, из которой выливается несметное количество воды, остановит на минутку самолёт, парящий над нами, не боясь катастрофы. И всё получается! «Сошлось!» — вцепившись друг в друга, ликуем мы с Верой.

И дядя Серёжа со всем справляется. Если уж пришёл к нему кривым его друг дядя Боря, который никак не может жениться, то уйдёт ещё более перекошенным. А для чего

пчёлы у Лапшиных, разве не для того, чтобы лечить от радикулита? Под оптическим прицелом Понца они садятся точно на больное место, чтобы через неделю старый холостяк появился перед нами весёлый и полный надежд.

У Лапшиных вообще всё как надо. Мы с ними дружим и играем — в шарады, домино, шашки и в лото, которое я просто обожаю, особенно мешочек с бочонками. На каждом снизу и сверху одинаковые цифры. Когда тётя Валя перемешивает их, потряхивая, глаза у неё хитрые. Разложи карточки как захочется и знай закрывай клеточки. А если хоть одна карточка закрыта полностью — поздравляем победителя и начинаем пир. Тётя Валя ставит самовар и достаёт вазочку с яблоками на меду, утонувшими в сиропе. Они чуть-чуть забродили и от этого ещё ароматнее.

Мы приходим в гости как полагается — приносим баночку крабов, которых полно в Центральном гастрономе, или мандариновый компот с Китайской стеной на этикетке, полюбившийся с той поры, когда приезжал наш родственник — московский Жорж. Тётя Рашель сказала, что он «антрепренёр», возит артистов. И сам он был похож на артиста из фильма «Каштанка», хозяина собаки, только одежда на нём другая: пальто с роскошным меховым воротником и широким поясом, на голове — большая пушистая шапка. У Жоржа розовое весёлое лицо.

«Выбирай», — вытаскивая большой кожаный кошелек, говорит родственник. Падаю на витрину. Чего там только нет, глаза разбегаются! «Крабы, мандариновый компот, пирожное «Эклер», — перечисляет продавцу мой благодетель. — Ну а теперь — на концерт!» В прошлый раз Жорж привозил певицу Ружену Сикору, а в этот — двух дядь. Один маленький и очень упрямый, а второй боль-

шой и всё время оправдывается. Зовут их Милов и Новицкий. «О, кто пришёл! — говорит тот, что поменьше, подхватывая и сажая меня на колени. — Смотри, Новицкий, это же Беба — маленький Чайковский!» «Что?!» — удивляюсь я. А Жорж смеётся. К тому времени юное дарование двумя пальцами играет расходящуюся гамму от «до». «Аванс» становится семейным анекдотом, а мне достаётся плитка шоколада.

На сцене Милов и Новицкий всё время выясняют отношения и ссорятся. Ну кому это интересно? Я люблю, когда всё мирно. Как у Лапшиных. Наши друзья только и делают, что подтрунивают друг над другом, но в их квартире на Парковой, 14, весело, дружно и чудесно, особенно в Новый год. У Веры уже есть костюм Снегурочки, а у меня и Нины — пока ничего. Придётся идти на ёлку в нарядном платье, но и это тоже неплохо. Каким будет праздник в этом году — тайна для всех. А вот в прошлом — сказка началась в саду.

В комнатах уже пахло свежей хвоей, тихонько покачивались игрушки на нижних ветках от прикосновения учёного кота Мулата, как вдруг тётя Валя попросила детей и взрослых посмотреть в окно. За ним стояли в сумерках деревья, одетые снегом, и наша любимая беседка, почти утонувшая в сугробах. Вдруг над ней загорелись цветные огоньки, а один — тот, что побольше, — отделился и поплыл по воздуху прямо к нам. И мы увидели, как из калитки сада выходит Дед Мороз, над его огромным посохом горела звёздочка. Раздался звонок в дверь, и нас никто не мог удержать — так и вылетели на лестницу в своих лёгких нарядах и туфельках. А он шёл прямо на нас, поднимаясь по ступеням, весь белый от инея и красный от одежды, и посох нашего дорогого гостя стучал о каждую ступеньку.

Вместе с Дедом Морозом мы еле-еле пролезли в дверь комнаты. Уж он с нами и танцевал, и пел, и внимательно слушал наши стихи, и помог зажечься ёлочке. И так развеселился, что потерял рукавицу. Искали её недолго, а нашли у дверей, ведущих в другую комнату. Смотрим — а рукавица-то на верёвочке! Дёрнули за неё — дверь открылась, а за нею белоснежная горка, по бокам — зелёные ёлочки, на вершине — настоящие сани, а в них пассажиры — зайцы-беляки! «Ну-ка, ребята, похлопайте в ладоши!» — попросил Дед Мороз. Кто же ему откажет! Хлопнули в ладоши раз, другой, третий — зайцы и покатились прямо к нам в руки, а в них — подарки. Но мне было интересно не только то, что было в подарке, а из чего сделаны «побегайчики». Оказалось, их вырезали из картона и обтянули белой тканью, а на меховую головку с ушками, набитую ватой, пришили глазки-пуговицы.

И всё это придумали Лапшины вместе с Дедом Морозом дядей Борей, который сам себе принёс счастье — скоро женился. Зато тётя Валя много пережила — во время ёлки она спряталась за круглой печкой, держа в руках мышеловку с верёвочкой, прицепленной к зайцам. Мышеловка должна была хлопнуть, верёвочка — обрезаться, а зайцы — скатиться с горки. У тёти Вали это не получалось, вот мы и хлопали, просили — чуть ладошки не отбили.

В этом году мы с Ниной пришли на ёлку первыми. В комнате было ещё темно, но вся она превратилась в лесное царство. Посреди комнаты стояла ёлка, достающая до потолка, к шторам были прицеплены хвойные веточки и приклеены золотые звёзды, месяц и луна. Недалеко от ёлки мы увидели Деда Мороза, который стоял с закрытыми глазами, не шевелился и ни с кем не хотел говорить. «Отдыхает», — подумала я. Только на пианино мерцали

газовые рожки; в их свете переливались, поблёскивали и чуть кружились цветные шары. Ёлка отражалась в старинном зеркале — в нём кто-то тоже собирался справлять Новый год. Когда все собрались, на стену прикрепили простыню и начали крутить диафильмы. Сначала «Красную Шапочку», потом — про трёх озорных поросят и Чука с Геком. Вот бы уехать далеко-далеко, как эти мальчишки с мамой, чтобы нас там ждал папа. Я бы ему заранее вырезала из цветной бумаги много разных игрушек, склеила бы их, а потом мы бы с ним испекли картошку, ели её у ёлки в Новый год и угощали маму. Стоит мне увидеть что-нибудь интересное, как я начинаю мечтать...

Но вдруг кто-то закашлял. Оглянулись — у Деда Мороза изо рта повалил пар. Оживает!!! И правда, веки открылись, руки зашевелились, ноги затопали — пошёл! Как и в прошлом году, играли, пели, читали стихи, танцевали и ждали — а вдруг опять Дед Мороз потеряет рукавицу? Потерял! Нашли у двери, потянули за шнурок... Дверь открылась, и въехала на санях огромная хлопушка! Раздался хлопок, она раскрылась, а внутри стояли и лежали маленькие дочери-хлопушечки и в каждой — новогодние подарки!

Долго-долго буду жить-поживать на свете, но внутри моего сердца останется местечко, занятое этими лучшими праздниками.

Над логом

Вхожу в домик, вросший в сугроб и смотрящий оконцами на старое кладбище. На кухонном столике, покрытом потрескавшейся клеёнкой, в трёхлитровой банке пла-

вает роскошная «медуза» — чайный гриб. В углу — потемневшая от времени икона Божией Матери с младенцем, укутанная в чуть поблёкшие с Троицы матерчатые и бумажные цветы. В крохотной комнатке, отделённой от кухни ситцевыми занавесками, на диванчике с валиком, поближе к свету, сидит бабушка Ольга Павловна и читает прошлогодний учебник географии. Ей интересны разные учебники — все, кроме математики, — Нинина бабушка любит путешествовать. Маленькая, сгорбленная, с бледным личиком, наполовину упрятым в платок, она строго оглядывает меня, и я невольно подтягиваюсь, хотя ничего плохого и не собираюсь делать — пришла поменяться с подружкой марками.

«Пойдём, Бибка, на кухню», — улыбаясь, говорит Нина. Она угощает меня сладким и терпким настоем гриба, потом чуть подсохшими пирожками с яблоками, вытирает насухо клеёнку, и мы садимся поближе друг к другу, раскрывая свои сокровища.

Достаю марки из почтового конверта, где они лежат дружной семейкой. Их я могу разглядывать без конца. Стародавние, содранные с открыток и конвертов, присланных из Казани и Бухары Соне, Нюте, Мусе, Рае и маме, с красными, синими, зелёными и чёрными двуглавыми орлами; новенькие — портреты героев-полярников, лётчика Чкалова, композиторов «Могучей кучки» и Чайковского, звери Африки и картины художников-передвижников. Особенно мне близки «Алёнушка» Васнецова и «Бурлаки на Волге» Репина. Первая — задумчивостью, а вторая — тем, что вызывает сострадание. Я ведь тоже хлопочу по хозяйству: ношу воду, таскаю дрова, но тащить на себе целый пароход — это уж слишком!

На столе разместился настоящий цветник — это мар-

ки, присланные девочкой Снежаной из Болгарии. С ней я переписываюсь по адресу, выбранному в «Пионерской правде». Из холодной уральской зимы переносимся в чудесный сад и сразу ощущаем аромат алых, белых, жёлтых и кремовых роз, тюльпанов и гвоздик.

У Нины марки лежат аккуратно, в специальном альбоме, присланном папой. Их концы вставлены в прозрачные полоски, приклеенные снизу и похожие на длинные строки. С интересом рассматривая мои марки, подружка сохраняет чувство собственного превосходства. «Ну зачем тебе «Лебединое озеро»? Хочешь, все марки заberi за него!» — прошу я. Лучше этой марки не может быть ничего! На ней танцуют в белых пачках и тапочках четыре балерины. За их спинами — зелёное озеро, по бокам его чёрные деревья, а над головами девушек-лебедей светит белая луна. Всё-таки какая несправедливость! У меня есть портрет Чайковского, так почему же композитор не может соединиться со своим творением?

В это время на кухню заглядывает бабушка Ольга Павловна. «У, шпионка...» — теряя внутреннее равновесие, шипит себе под нос Нина. Мы меняемся уже не первый раз, но она неумолима, хотя жадиной никак не назовёшь — может целый разборник, состряпанный бабушкой и начинённый «подушечками», отдать — ешь не хочу! У неё круглое беленькое личико, похожее на свежую картофельную шанежку, и упругие лёгкие ножки. Никто не топает так громко и быстро каблучками по асфальту, как моя подружка. К тому же она — отличница, только с географией беда.

«Что такое климат?» — спросил как-то учитель Константин Иванович. Нужно отвечать абсолютно точно, нельзя заменить ни один союз, ни один предлог и ни одно

слово, а тем более — переставить их. Такое может запомнить только Нина. «Молодец! Большому кораблю — большое плавание!» — хвалит учитель воодушевившуюся школьницу. Хорошо ещё, когда наш географ обращается по имени или по фамилии! Но чаще он задаёт вопрос в воздух и тогда одновременно поднимаются несколько учеников. У Константина Ивановича глаза смотрят в разные стороны. Смеяться над этим нельзя, но от этого никому не легче. Да ещё у него со лба прядка волос откидывается и свешивается отдельно от небольшой шевелюры над ухом, а под ней — пусто. Мы всё это давно разглядели, а Нина никак не могла успокоиться — показывала Вере пальцем и смеялась так, что из глаз ка-тились слёзы.

Вот после этого-то на уроках географии она и пустилась в настоящее плавание вместе с картой, висящей на доске. Не перечислить заданий, которыми её завалил Константин Иванович! Она искала города и реки, озёра и горы, острова и полуострова... Пришлось углубиться в предмет, чтобы не потерять пятёрочный престиж, однако комплименты теперь доставались другой пассии — Наде Башмаковой. «Большому кораблю — большое плавание!» — предрекал довольный Константин Иванович, даже не оглядываясь на поселившуюся у доски Нину. Но наша подруга не особенно огорчалась, а, отворачиваясь, еле удерживалась, чтобы не прыснуть в кулак.

Разве можно так обращаться с почти взрослыми людьми? А то, что мы уже не дети, должны увидеть все. Надеваем капроновые чулки и лаковые туфли мам, ручные часы, подаренные нам на дни рождения, и отправляемся на оперу «Риголетто». Пусть герцог, погубивший Джильду, — подлец, пусть отец её заливается слезами из-за того,

что ему вместо заказанного трупа подкинули труп любимой дочери; в конечном счёте, всё это не имеет большого значения. Главное — есть антракты, в которых мы можем показаться во всей красе.

Жаль, что нас не видят родители, особенно Нинина мама. Она приходит домой пьяная и начинает свой «концерт», а иногда даже лезет драться. Достается моей подруге и старой бабушке. Откуда только силы взялись — связали её так, что не могла и пошевелиться. Если бы не Ольга Павловна, даже и не знаю, как жила бы Нина. Вот и хочу порадовать хоть чем-то.

В её день рождения встречаю у калитки дома, ещё до школы, с тазиком. В нём на снегу лежат апельсины, а посередине стоят открытая бутылка лимонада и большой старинный бокал, из которого я пила этот душещипательный напиток в детстве: «Поздравляю! Расти большая, красивая и счастливая, на радость бабушке, Вере и мне!» И Нина смеётся.

Кукуштан

Кукуштан — это там, где огромное Свинство — подсобное хозяйство маминого госпиталя. В нём разводят свиней. Не сказала бы, чтобы инвалиды от супов, сваренных на выращенном для них мясе, сильно раздались, и румянца во всю щёку не видно. Зато начальник госпиталя — полногрудая и полнотелая, даже подалась в высоту, хотя в её возрасте уже не растут. А иначе не справиться — на таких плечах, как у неё, всё только и держится — и госпиталь, и хозяйство. Вот и меня отправили в Кукуштан на откорм.

Утро холодное, безветренное, чуть тронутое солнцем — ещё не проснувшимся, как и земля. Грузовая машина медленно поднимается на высокую гору, а потом, наверное, специально, чтобы «за животики схватило», быстро спускается с неё. Дух захватывает от скорости и свежести набирающих силу зелёных полей, окутанных дымкой гор, касающихся их дальними краями. Главное — с вестибулярным аппаратом у меня всё в порядке. Не то что в Екабпилсе, когда отправляли к Соне в Ригу.

Из другой, морозной дали неожиданно всплывает картина молчаливых проводов. Луша кутает меня, на шапку повязывает пуховый платок. Становится трудно дышать. Слава богу, глаза не запрятали, зато ноги упаковали так, что они — как у слона в клетке. Спускаемся с Максом к Даугаве. В предрассветном тумане еле видна узкая тропинка через реку, впечатанная в ледяную твердь. Платок около глаз и рта сразу набухает от дыхания. На другом берегу, в Крустпилсе, нас должен ждать мой любимый шофёр «скорой помощи» Аватис. Он ещё никогда не видел меня так разодетой — не девочка, а колода какая-то! Но неудобные мысли быстро выветриваются из головы. Страшно даже представить, что идём мы посередине реки, а подо льдом — ямы, рыбины, водоросли и вся та знакомая по лету жизнь, которой так не хватает зимой. Но не дай бог очутиться в ней сейчас!

Дорога среди белой мглы кажется бесконечной, но с берега нас уже кто-то окликает. Конечно, это Аватис! Вот кому не страшен никакой мороз — может быть, потому, что его золотые кудри рассыпались по плечам, спрятали почти все щёки, а нос он прикрывает огромной латышской варежкой. «Живая?» — спрашивает меня шофёр и, не слушая ответа, поднимает на руки и усаживает в тёплую каби-

ну. Папа в овчинном тулупе машет нам рукой. Ему надо идти назад, через эту бесконечную реку, и как можно быстрее, чтобы не опоздать на работу на промкомбинат.

Даугава не расстается с нами — она едет вместе с машиной и дорогой, подневольно изгибаясь, скованная берегами. Крустпилс давно остался позади вместе с замком, в котором когда-то жил барон. Сквозь чёрные кусты в утреннем бессолнечном рассвете проступает идущая в лес дорога. «Саласпилс...» — тихо произносит Аватис. Я уже слышала об этом месте, где мучили и убивали взрослых и детей, — в нашем Екабпилсе многое напоминает о войне.

Недавно мама пришла с работы встревоженная — забрали врача-хирурга и его жену. Оказалось, они ставили опыты над детьми в лагере смерти. И раньше в больнице обращали внимание на то, что ни один солдат, которого прооперировал этот хирург, не выздоравливал, а теперь вот нашли документы, подтверждающие, что во время войны он помогал фашистам. «Ты представляешь, Макс, — с ужасом сказала мама, — когда за ним пришли, он засмеялся и заявил: «Жаль, мало я вас перерезал!»

Аватис, конечно, тоже знает эту историю, только сейчас ему не до того — через каждые полчаса меня тошнит, вот и останавливаемся без конца на дороге — «подышать». Стыд-то какой! Я и раньше стеснялась Аватиса, когда он вечером привозил маму с работы и заглядывал к нам в комнату. А меня в это время уже укладывали спать и приходилось срочно прятаться под одеяло. Зато сейчас всё плохое позади, а впереди одно хорошее — Кукуштан, где я наконец-то познакомлюсь с кукушками.

Когда произносят это слово, сразу почему-то представляю, что на птицах — нижнее белье. Может, там, в Кукуштане, лето всегда холодное? Меня тоже упаковали

как следует: два сарафана на тот случай, если у одного лямки оборвутся — пришивать-то я их пока не умею; сандалии с дырками для воздуха — чтобы пальцы не скучали; тёплый спортивный костюм с начёсом — а вдруг в июле снег выпадет; резиновые сапоги — «без которых абсолютно нечего делать в деревне», как сказала Женя; шёлковые ленточки — белая, красная, синяя и жёлтая — без них не выжить моей единственной косе, той, что пока длиннее ума.

Ну и глухомань вокруг! Горы, обросшие лесами, поднялись до небес; река Бабка журчит по камешкам и перекатам. Пока машина отдыхает — рассматриваю то, что под водой, по которой уже разлилось солнце. До середины реки достают неровные тёмные отражения белых каменистых берегов. Словно гигантские опоры, они поддерживают всё то, что живёт, растёт и движется — телегу, медленно поднимающуюся в гору и огибающую кромку леса; стадо коров, пасущееся на единственной поляне, окружённой высокими елями; лодку, уткнувшуюся носом в корягу, лежащую на берегу. Так вот он какой — Урал! Наверное, в таких местах живут лешие, водяные и русалки. А ещё тётя Вера и дядя Федя — начальник подсобного хозяйства.

«Угостья приехала! Добро пожаловать, сердынько!» Оба они с Украины и многие слова начинают с буквы «У». Здесь-то я и проживу славное лето с двумя их дочерьми — Ниной и Лидой. Нина берёт большую лягушку, опускает во флягу с молоком, стоящую на краю колодца, прицепляет ее на крючок и, медленно разматывая цепь, потихоньку опускает в колодец. Слышно, как фляга разбивает донную воду. «Теперь не прокиснет!» — говорит практичная Нина. «Ну что, пошли огурцы пробовать!» — предлагает младшая сестра Лида, лицо которой усыпано бесчисленными веснушками, словно её выкупали в золотом наварии-

стом бульоне. Нина совсем другая — голубоглазая красавица с вьющимися каштановыми волосами, статная, сильная, «кровь с молоком», сулящая надежды и счастье маме и папе. Она делает всё и всегда правильно, быстро всему учится и учит других, а кроме того успевает посмеяться над нелепостями соседских детей. Достается и Лиде: «У, рыжая-бесстыжая!» — только и слышно каждый день. От такой плохой жизни бедная сестра уже успела выпить разбавленной уксусной эссенции — еле-еле отходили. А Нина всё равно не унимается...

Но когда мы едим огурцы в старой бане — обо всем забываем. Этот плох — откусываем и вон, тот тоже неважнецкий — и его туда же, а этот — маленький, в пузырьках, свеженький, хорошенький — глотается заживо. В баньке ещё влажно и тепло — вчера протопили. Сидим на полках, чем-то напоминающих мне преисподнюю Лушиной парилки.

Зато на речке-то как хорошо! В тёплом песке подсыхают и отдыхают ракушки, наполненные телами своих обитателей, высывающих наружу кончики розовых мантий. Плещемся, тянем друг друга за ноги, плывём собаками и лягушками, пробуем брассом и даже переворачиваемся на спину, но тонем, тонем!!! «Смотри, вон брод,— показывает Лида,— можно на телеге проехать, а можно и перейти. Скоро пойдём на высоковольтную за грибами», — обнадеживает она.

На следующее утро иду купаться одна. Забираюсь в реку, подпрыгиваю, шлёпаю по воде руками, верчусь и пою: «Между небом и землёй песня раздаётся!» Окатываю берег каскадом брызг, по прибрежной воде иду до тропинки и поднимаюсь по ней к огороду, обмахиваясь полотенцем. «З-з-з», — раздаётся за спиной, и я ускоряю шаг. Звук

становится всё громче. Да это уже целый хор! Навстречу мне идёт инвалид с костылями. Обалдеваю от страха и несусь вперёд. И вдруг словно сотни иголок впиваются в голову. «А-а-а!» — кричу я. Инвалид, услышав крик, бросает костыли и бежит в обратную сторону.

Моя голова похожа на глобус, на котором кто-то перебирает спутанные параллели и меридианы. Она лежит на коленях у тёти Веры, а на углу стола стоит блюдечко с двенадцатью пчелиными жалами. «Ничего, краля! Теперь вже зараз поумнеешь!» — успокаивает хозяйка. Чтобы проветриться, шлёпаю босыми ногами по тропинке в сторону болотца, почти примыкающего к Бабке. В нём словно сидит кто-то и дует в соломинку, надувая на поверхности пузырьки, лопающиеся, как воздушные шарики от прикосновения иголки. Заглядываю с берега в воду: одно отражение накладывается на другое, они словно смазаны, как недосохшие акварели. Над чуть заржавевшей гладью водного стекла вижу напружинившиеся водоросли, дудки каких-то растений. На плаву держатся островки зелёной, пепельной и коричневой, увядающей, подёрнутой плёнкой ряски. Кое-где торчат жёлтые кубышки. Но главное — к берегу прижалась лодка с шестом. Видимо, и до меня кто-то уже пускался в путешествие по нижнему миру. Лодка плывёт с запинками, прокладывая путь к неизвестным берегам. Дух болота щекочет ноздри, и снова хочется петь «Жаворонка». Голос соединяет пределы земного и неземного единой нитью. Солнце заглядывает в воду, дробясь на множество солнц. Его искры отлетают от поверхности и вместе со звуком лопающихся пузырей создают феерию света и звука.

«Бе-ба, — доносится с берега, — ты куда? Лодка-то дырявая!» И на самом деле — ноги уже погрузились в воду

по щиколотку, но она так разогрелась, что я не чувствую прикосновения. Пробую повернуть назад, но лодка не поворачивается. «Там стой! — кричат Лида и Нина. — Сейчас папку приведём!»

Директор свиноводческого хозяйства дядя Федя через несколько минут уже стоит на берегу — ладно, дом близко! «Ну, деука, казак! Глаз да глаз нужен!» — смеётся он. Сапоги, которые мой спаситель с трудом вытаскивает из воды, громко чавкают, словно тот, кто сидит в болоте и дует в соломинку, решил наконец закусить. Схватив лодку за корму, дядя Федя потихоньку разворачивает её и, медленно подтягивая за собой, движется к берегу. «Ну, гарна дивчина, одна боле не ходи! Тильки с дочками! А то ещё бык забодэ! У нас в Кукуштане-то их ого!»

Ох и хорошо в доме у Рябко: гора сатиновых подушек — самая большая внизу, а потом всё меньше и меньше, а наверху самая маленькая — думка. Оказывается, думки бывают разные: у Чайковского — про украинскую жизнь, у Рашуси — для иголок, а у меня — про то, как мы завтра пойдём в колхозный сад собирать смородину: ведро его хозяевам и ведро нам. Чёрная смородина уродилась этим летом на славу — и холод её не настиг, и солнышка было много, и дождичков хватило. Кусты посажены аккуратно рядами, им нет ни конца ни края. Сначала едим, как говорится, от пуза, пока тётя Вера не останавливает: «Скильки можно? Зараз сторож придэ!» Так что приходится постараться — собираем до того, что перед глазами пляшут зелёные листья и чёрные точки. Рот слипся от кислого и сладкого, руки красные от сока, да и лицо, наверное, разрисовано, как у пиратки.

Так объедалась я только два раза — вишней в Екабпилсе и пломбиром в Москве, на ВДНХ. Ещё бы не объе-

стись, когда перед твоим носом стоят тазы с переспелой вишней, которая так и просится в рот, или — перед ним же — все едят пломбир! И почему только тянет сделать то, чего делать совсем не нужно? Правда, это не только со мной бывает — один мальчик на этой выставке в павильоне «Армения» схватил из вазы огромное яблоко, сразу впился в него зубами и побежал, чтобы не отобрали, а за ним никто и не погнался — яблоко-то оказалось из воска, он потом сам вернулся и положил «фрукт» на место. Но вишня, мороженое и чёрная смородина — настоящие.

Вернувшись домой после сбора урожая, иду к Бабке — уж очень жарко, а вслед за мной тащатся Лида и Нина. Река после дождей кирпичного цвета — захожу в воду и меня почему-то мутит, а тут ещё ноги словно тянет куда-то в глубину, оттаскивает и потихоньку начинает кружить. Такого со мной ещё не бывало. Где ты, мой ангел-хранитель с ясным и добрым лицом? «Яма!» — кричит умная Нина, и они с Лидой и подскочившим с берега мальчиком залетают в реку, хватая меня за руку. А дальше — как в «Репке»: Нина за Бебу, Лида за Нину, мальчик за Лиду — так и вытягивают меня из закружившей петли на берег. Тётя Вера и дядя Федя про случившееся не знают.

На следующий день идём за хлебом на станцию, покупаем тёплые свежие кирпичики и кило фруктовых «подушечек», обсыпанных сахаром, и на обратном пути хлеб вместе с конфетами пищеваряется в наших желудках с лучшими на свете думками.

Вот он, зелёный Кукуштан,
Где я не слышала кукушек, —
Гора сатиновых подушек,
Недвижных омутов обман.

Как сот медовых тёплый ком —
 На сеновале тише слово,
 Вздыхает по ночам корова,
 В колодец ставят молоко.

Над Бабкой ивовый туман,
 В него звонит большое стадо.
 Ни слёз, ни нервов, ни досады —
 Парное утро на стакан.

Играйте, девочки!

Трамвай выезжает на старый мост, парящий над Егосихой и пожелтевшими, ещё пытающимися держаться садами. Он медленно огибает гору, поднимаясь вверх, и поворачивает влево. По бокам путей вкривь и вкось разбросаны деревянные домики с палисадниками давно угасшей сирени и ещё набирающими силу астрами, чудом уцелевшими после 1 сентября.

Музыкальная школа № 2, в которой мне предстоит учиться, на самом деле самая первая в нашем городе, и стоит она на вершине Городских Горок, рядом с большими каменными домами, продуваемыми бесчисленными ветрами через арки и чугунные решётки, соединяющие их. Из раскрытых форточек доносятся обрывки гамм, у каждого окна — своя, а если открыть входную дверь — от напора валит с ног. Они сбегаются и разбегаются, улепётывают, словно кто-то преследует или, наоборот, на зов — возвращаются назад. Так вот что такое Музыка!

Стою в крохотном вестибюле самой первой в нашем городе музыкальной школы. В руках — чёрная папка, извлечённая из бабушкиного сундука. По обе её стороны выпуклые лиры, похожие на две одинаковые вазы. В шко-

лу я поступила ещё весной. Попела — проверили слух, похлопала — проверили ритм, а потом один из сидевших в классе педагогов, невысокий мужчина с беломраморным лицом, розовыми щеками, падающим на лоб смоляным вьющимся чубом и трубкой в руке, спросил, не сочиняю ли я гаммы. Ну конечно! И тут же прозвучала знаменитая расходящаяся гамма от «до», сыгранная двумя отдельными пальцами правой и левой рук, — та самая, которую уже успели услышать Миров и Новицкий. «А что, неплохо!» — сказал, как-то странно улыбаясь, директор Виктор Исаевич, и вслед за ним заулыбались все остальные. Так и стала я на полжизни «сочинительницей гамм».

Пока я хожу только на занятия хора. Мы разучиваем Песню Дев из оперы «Князь Игорь» «Улетай на крыльях ветра». Так и представляю: ночная степь, всё затихло, горят костры, татаро-монголы, от которых всем досталось, варят мясо в котлах, а девы, которые ни в чём не виноваты, поют. Среди них, наверное, есть и пленницы — душа рвётся на волю и тоскует! И летит песня над ковыльной степью — ни одна травинка не дрогнет... Стараюсь изо всех сил! Руководитель хора Нина Павловна проходит по рядам, прислушиваясь к поющим, и останавливается рядом со мной: «Молодец, хорошо тянешь!»

В школе много преподавателей, которые мне нравятся, только вижу их редко. Чаще всего они прячутся с учениками за двойными дверями — чтобы было не так шумно от уроков, а потом, когда перерыв, выскакивают в коридор и радуются — все, и молодые, и те, что постарше. Наверное, оттого, что им очень надоело слушать гаммы. Только Татьяна Александровна, преподаватель музыкальной литературы, никуда не прячется и не торопится. Она — певица, правда, перед нами не поёт, а только рас-

сказывает и ставит пластинки — отрывки из произведений классиков. Ходит она на тоненьких высоких каблучках и держится так прямо, словно кто-то её сверху специально подтягивает, а меня называет «Кармен». Почему — не знаю, но, наверное, из-за огромных бантов, похожих на два бутона, сооружённых мною из бухарского шёлкового пояса и нависших над ушами.

В школе — узкий длинный коридор, так что побаловаться можно только в вестибюле: покрутить нотной папкой, похлопать ею по бокам и много раз посмотреться в зеркало. Все девочки и мальчики вежливые, воспитанные и таких хулиганов, как на Ленина, 7, здесь днём с огнём не увидишь. Поэтому ходить на занятия совсем не страшно, а наоборот — хочется.

Мою Музыку я сразу узнаю в лицо, но у неё есть и имя — Светлана Константиновна. Музыка прекрасная и тоненькая, а шея у неё лебединая, чёрные прядки волос облепили смуглое личико и чуть задевают розовые щёки. Музыка смеётся, как всхлипывает, и хочется, чтобы так было всю мою жизнь.

Светлана Константиновна — настоящая пианистка. Когда она играет в зале на большом чёрном рояле — кажется, что окна со стенами становятся невесомыми и словно растворяются. Её мама тоже преподаватель музыки, но дочери она ровно по пояс и похожа на мячик, с которым так и хочется поиграть. Маленькая, с круглым личиком, окутанным, как одуванчик, пушком, Рахиль Исааковна так расплывается в улыбке, что в ней и пропадает. Благоухая «Красной Москвой», пропитанная ею, как губка, мама спрашивает у дочери: «Как ты можешь ставить этому ребёнку «кол»? Неужели ты не видишь, как эта девочка смотрит на тебя?» Но моя Света неумолима, хотя отво-

дит глаза в сторону, чтобы я не увидела их выражения: «Пускай учит пальцы!»

Пальцы — это беда на долгие годы. Ну и композиторы — мало того, что нужно разучить и запомнить пьесу, так ещё и маяться с цифрами, поставленными под нотами! Я, конечно, понимаю, что на каждой руке только по пять пальцев, и надо как-то выкручиваться. Ладно, если ещё пьеса медленная, а если быстрая? «У тебя руки бегут быстрее, чем работает голова!» — пытается охладить мой романтический пыл Света. Интересно, а как разучивала пьесы моя бабушка Берта Шахнович? Посмотришь в её ноты — там страшно и черно, как в фантастическом лесу.

Тайком от меня говорят, что способности есть: музыкальность, эмоциональность, руки, словно созданные для инструмента, но голова!.. «Считай! — требует Света. — Куда тебя несёт! Раз, и два, и три, и четыре...» Всё ясно — и здесь математика, которую я терпеть не могу. Правда, пока ещё не знаю, что значит «алгеброй гармонию поверить», но ничего хорошего в этом заранее не нахожу. И всё равно — хотя у меня в дневнике основные отметки «кол» и «пять» — поняла, что у Светы два любимчика — я и Юрка Зак, два вечных должника и неплательщика. Об этом заявил в учительской бухгалтер музыкальной школы, а я случайно услышала. Ну как же объяснить Свете, чтобы она не сердилась? До четырёх я считать умею, и даже больше. Порой дело в том, что перед уроком люблю поесть чеснок...

Мы сидим в концертном зале, где обычно занимается хор, а Света аккомпанирует ему, даже не оглядываясь на меня. «Так, с Бахом хорошо. Молодец! Даже пальцы выучила, — слышу я редкую похвалу. — А теперь пьесу Глиэра «В полях». И считай!» Я молчу. «Ты что, Беба, опять

чеснока наелась?» А всё из-за того, что мама не разрешает пользоваться в её отсутствие электроплиткой — оставит на тарелке холодную кашу, резаные яблоки; а мне не всегда этого хочется — вот и добавляю в рацион авторский бутерброд. Конечно, нужно исправляться — и все экзамены сдаю на пятёрки. А если Света рада — большего счастья нет на свете!

Играть я люблю, играю много, хотя и не всегда так, как требуется. Раскрываю окна, чтобы все прохожие слышали. Соседские ребята давно уже прозвали меня «артисткой». Мне и в самом деле хочется ею быть. Год проходит за годом, пальцы бегают по клавиатуре всё быстрее и уже не всегда опережают голову. «Будешь выступать по телевидению с «Бурным потоком» Майкапара, — воодушевляет меня учительница. — Смотри, всё сделай, как договорились!» На студии жарко, как в Африке, взмокла от страха и волнения. В крышке рояля — три моих головы, а правая нога выбивает по педали чечётку, но, к собственному удивлению, справляюсь. «Молодец! — хвалит Света. — Рахиль Исааковна сказала — техника, как у Гилельса!»

Этого пианиста я слышала всего один раз и то в фильме, где он играл «Сады под дождём». В таких садах я ещё никогда не бывала, только в зимних, но они чудесны: ветви набухли, стали упругими, чистыми, они раскрыли свои объятия, купаясь в тёплом ночном воздухе, и сами рожают музыку, сбрасывая светящиеся капли.

Я тоже слышу свою музыку. Она поселилась внутри меня и пока ещё не очень выросла, но места для неё хватит. В каждом отведено место под Музыку, но у всех она разная, и пространство, которое она занимает, тоже разное. Это я поняла, когда ходила вместе с Аркадием Лавровичем на концерт Святослава Рихтера. Музыка

в нём занимает полный объём — ничему другому места просто не остаётся. А вот во мне пока много места и для другого, поэтому, наверное, задумываюсь ненадолго, иначе не случилось бы этой истории...

Под Новый год я решила поздравить Свету. Приготовила серпантин и конфетти и спряталась за дверью в концертный зал, где мы обычно занимаемся. Вероятно, заболел кто-то из учеников, и у Светы этот урок был пустым. Мне хотелось, чтобы она зашла в зал, а я из-за дверей бросила бы в неё серпантин и конфетти, а потом вышла бы и громко сказала: «С Новым годом!» Но Света зашла не одна, а с педагогом по баяну, да ещё из двойных дверей первую она закрыла, а вторую — за которой стояла я — оставила открытой. Пришлось целый урок стоять и слушать, как «баянист» говорил ей всякие глупости, а она смеялась. Когда наконец всё это закончилось, они пошли к выходу, и Света закрыла створку двери, скрывавшую меня. «А ты что тут делаешь?» — спросила моя небожительница. «С Новым годом!» — только и смогла пролепетать я, роняя на пол ещё более сжавшийся от страха серпантин и пачку конфетти.

Но впереди были новые испытания! Мне доверили самое почётное место в годовом отчётном концерте — играть в заключение. Обычно он проходил во Дворце имени Ленина и на этот раз совпал с днём рождения вождя. Из репертуара выбрали «Масленицу» Чайковского. Пьеса, прямо скажем, по мне, сплошной праздник: тройки, игры, блины — размах хоть куда!

Рояль стоял в самом центре зала, и до него нужно было ещё добраться. Как назло, я надела мамины белые туфли на каблучках, и хотя много раз перед выступлением репетировала в них: ходила по комнате, спускалась и подни-

малась по лестнице — всё равно не рассчитала. Сцена оказалась такой скользкой, что вся «Масленица» мгновенно вылетела из головы. В обморочном состоянии добравшись до рояля, юная пианистка так приударила по бездорожью, что остальные времена года вряд ли успели бы ей вслед.

После концерта сидевший в зале Сергей Александрович, муж Елены Михайловны Рутенберг, найдя меня за кулисами, сказал следующее: «Мне понравилась одна девочка, но я боялся, что она разобьётся». А Света, заливаясь смехом и потрепав меня по щеке, добавила: «Ну, ничего, главное — с темпом справилась, а синяки пройдут!» Всё закончилось благополучно, но впереди ждал новый сюрприз — Света собралась замуж!

До сих пор она была моей, а теперь будет ещё чьей-то. Чтобы снять тяжесть с души, я посвятила любимой учительнице целую поэму о своих ущемлённых чувствах. После этого Рахиль Исааковна как-то заглянула в класс: «Беба, у тебя хорошие стихи. И так приятно, что ты любишь Светлану Константиновну». А моя учительница, улыбнувшись, сказала: «Спасибо, девочка. Стихи и в самом деле хорошие!» А в дневнике вместо задания на следующий урок записала: «Читай Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулину. Пиши стихи всю жизнь».

Как выяснилось гораздо позднее, путь поэта оказался труден, и я перешла на прозу. Но в то время ничего прозаического в моей жизни не происходило — всё было наполнено Музыкой, которую подарила мне умершая в расцвете жизни моя учительница.

Скачки терцовые, скачки квинтовые,
Скачки по клавишам, скачки по лужам.
Этюды робкие, этюды чёткие —
Играйте, девочки, играйте — нужно.

Этюды Гермера, этюды Клементи,
Как много сил на вас, как много времени...
А пальцы ловкие сплетают кружево.
Играйте, девочки, играйте — нужно.

Рояли грозные, рояли чёрные,
Октавы быстрые, скачки упорные.
До боли клавиши зимой застужены...
Играйте, девочки, играйте — нужно.

Пожар

И сегодня, когда подхожу я к дому, запакованному в рекламные щиты, пепел ударяет в моё сердце. Разгуляй обуглился в тот год, когда в космос полетел Гагарин. В то время уже прокладывали дамбу, соединяющую город с Горками. Строили по живому, рубили цветущие сады — наш, полубезумного Поснятки и основательных поляков Заневских. В тот год Разгуляй стонал и изнемогал от бессилия под тяжестью топоров. Пришлось и мне вместо школьной формы примерить синее бумазеевое платье в белый горошек — наряд погорелицы.

Всё случилось из-за оперы Бородина, на которую я так торопилась, что забыла выключить утюг. Отгладила наряд с белым накладным кружевным воротником — непременно дополнением к нему — и отправилась в театр. Вновь окунувшись в теплоту южной ночи, вкушённую в младшем хоре музыкальной школы, я с блаженством погрузилась в яркость и экзотичность половецких плясок, однако была выдернута из партера знакомой девочкой Лидой: «У вас пожар!»

В то время, когда он начался, постового дяди Стёпы, умевшего справляться и не с такими бедствиями, в райо-

не трамвайного депо не оказалось, зато меня встретили огненно-красные, уже отпыхтевшие пожарные машины, выплёвывающие из шлангов последние струйки спасительной влаги, и толпа. «Вот она! Вот она!» — заорал кто-то, приведший Вия и открывший ему веки, и все, уставившись на меня, еле удержались, чтобы не раздавить. На распахнутых во двор дверях безжизненно повисла в пространстве щеколда. В воздухе стоял запах гари, струя которого истекала из деревянных сенок нашей квартиры, потерпевшей бедствие. Обугленные куски бухарского ковра валялись уже в кухне, пианино стояло на ещё тёплых углях, по полу были разбросаны книжки с чёрными переплётами и обрывки полусгоревших нотных страниц. Из каменных дедушкиных часов выпало сердце, и моё, кажется, остановилось — сейчас улетит в проём выломанных оконных рам и разобьётся об лёд. Вот тогда-то во мне, бесстрашной, и поселился страх. Теперь я всегда буду виновата: перед Лапшиными, уже приготовившимися к эвакуации; перед бывшими хозяевами Жунёвыми, залитыми водой (слава Богу, что квартира уже давно наша); и перед мамой. Ей бы радоваться, что дочь жива, а она рыдает — потеряла всё.

Погорельцам несут с миру по нитке: кто розовый ситчик — авось пригодится в мороз, кто скатерть на несуществующий стол... Смотрят жалостливо. Все госпитальные угощают в буфете так, что моя утроба раздувается. Нашу квартиру уже начали ремонтировать, и, может быть, к лету мы начнём новую жизнь, только так хорошо, как раньше, уже вряд ли будет в этом доме. Все сочувствуют маме, а до меня никому и дела нет. Душа поместилась в маленькую клетку, из которой не хочет даже выглядывать. А тут ещё появился и пермский Жорж.

Я часто видела его и раньше в театральном сквере, где он, всегда в белом костюме, стоял рядом с какой-то женщиной, сидевшей на лавочке, только делая вид, что разговаривает с ней, а на самом деле всё время поворачивался и посматривал на нас с мамой, сидящих невдалеке, но никогда не подходил. А уж если встретит на улице, то так «прилипнет», что я начинаю сразу тянуть маму за руку. Этого человека Женя знала в юности. У него необычное лицо, со шрамом на щеке — след войны. Лицо словно перекошено, наверное, как и жизнь. Быть бы ему большим художником или скрипачом, если бы не эта проклятая война, а сейчас он просто преподаёт. В нашем городе нет никого, кто был бы похож на пермского Жоржа. Иногда вижу его с этюдником, иногда со скрипкой, но глаза всегда одинаковы, когда он смотрит на маму, и мне это не нравится. Да и Женя была к нему не очень-то благосклонна и разговаривала с ним нехотя, и пока мы жили на Ленина — то у Муси, то у Рашуси, и потом, в Разгуляе.

Жорж появляется на Парковой после ремонта, голос у него вкрадчивый, осторожный, словно он что-то скрывает или недоговаривает, и на меня смотрит, словно я на другом конце света стою — ему нужна только мама. Пьём чай, и потянулась ниточка из клубка: «А помнишь, Женечка, я хотел подойти к тебе с папой, а Александр Аркадьевич сразу перевёл тебя на другую сторону улицы!» Так вот оно что! Значит, мой дедушка тоже не хотел, чтобы пермский Жорж дружил с мамой, когда она училась в медицинском институте. И я не хочу, только почему-то его очень жалко — какой-то он одинокий, грустный, худой и уставший.

Жорж открывает этюдник и достаёт свои работы. Впервые вижу такую красоту! Картины нарисованы мас-

лом, и на каждой из них — домик с окошком, в котором горит огонёк, но дорога, ведущая от него, какая-то короткая, словно кто-то её оборвал. Такие яркие краски я видела во сне: лечу в золотом платье высоко-высоко, над головой серебряная сабля и что-то жжёт в ступне, посмотрела — а там месяц, прямо впечатанный в пятку; небо синее-синее, а земля внизу зелёная-зелёная. Лечу — значит расту. А мама и Жорж уже выросли, и то, что случилось, нельзя исправить. Говорят, виновата война, но мне кажется, что дело не только в ней.

Жорж из Верхней Курьи, где жил раньше со своей мамой в маленьком деревянном домике, наверное таком же, как на его картинах. И стоял этот домик на Линии — так называются все улицы в Курье. Тянутся они очень далеко: от пристани до кладбища в длину и от Камы до основного бора — в ширину. Для всего посёлка сосняк — верная крыша, под которой протекает вся курьинская жизнь. Дома почернели от времени и стоят, как пунктир, а между ними — огороды и проулки. Испокон веков здесь жили дачники. Ещё до революции от пермской пристани ходил пароход «Царица», вывозивший на дачу наших Нюту, Мусю, Соню, Раю, дедушку Александра и маму. А лучше курьинских сосен и нет ничего, раньше в них и заблудиться было легко. Взрослые и дети здоровели, купались в Каме, валялись на золотом песочке, собирали грибы и ягоды, — а нам уже что осталось.

Жорж обожает свою Курью и вывозит меня вместе с мамой и поварихой-пенсионеркой Марией Павловной путешествовать. «Ну вот, Женечка, пойдём через лес наискосок — там самое грибное место». И мне уже хочется быть послушной. Дышится легко и сладко, зелёное царство Курьи обволакивает нас. Ветви сосен причудливы и

откровенны, а их корни заплетены, как множество жизней. Иногда на голову падают шишки, заставляя вернуться от мечтаний к реальности. Ну и вышли мы напрямик на болото!

«Не переходи, Евгения Александровна! Не то упаду!» — предостерегающе говорит Мария Павловна, стоящая на кочке. Я-то ещё прыгаю, а у мамы с её позвоночником ноги неустойчивые. Мария Павловна по ошибке тычет маме в зад своей огромной палкой. Состояние расстройств сменяется весельем. «Куда же ты нас завёл, Жорж?» — смеясь, спрашивает мама. Я давно поняла, что он может ошибаться. Ошибки стоят дорого, но ему мы прощаем.

Так постепенно завязывается наша дружба и становится всё сильнее и сильнее. Я уже жду его звонка и осторожных шагов. «Поэт всегда поймёт поэта!» — говорит Жорж, и на душе у меня становится теплей и радостней, словно нас соединили цветными ниточками. «Напиши о розе, как никто до тебя. Вот это и есть мастерство!» — Жорж хочет поведать мне о чём-то непонятном, но очень интересном. Читая тетрадь с моими стихами, он делает замечания, что-то хвалит, что-то критикует, но никогда не повышает голоса.

Вот одна наша знакомая, тётя Софа, всегда восхищается тем, что я умею готовить яичницу. Конечно, для неё я мастерица, потому что всю жизнь она ест в кафе «Дружба», а сама никогда ничего не готовит. Когда мы приехали с мамой из Екабпилса, тоже часто ходили туда — очень уж вкусные оладьи подавали на стол, пышные, сладкие, да ещё с разными добавками — вареньем, сметаной, маслом. Один раз мы с тётей Софой сидели за столом рядом с двумя дядями-грузинами. Они мне так понравились, что

я решила с ними попрощаться по-грузински, как меня научила дочь Муси Лена. И сказала-то я всего два слова, но грузины так переменились в лице, словно услышали что-то неприличное, и больше к нашему столу никогда не подсаживались.

Мастерство — это точность во всём, а если ты не уверен — по крайней мере не втягивай других. Вот Софочка всё время зовёт маму посидеть на пароходе — на том самом, который никуда не собирается плыть: «Ах, Женька, там рай!» Однажды пароход, на котором они решили «подышать», взял да и отправился в путь. Сколько ни умоляли капитана, пришлось всё же плыть вниз по реке до Краснокамска — еле успели вернуться до ночи домой.

Вот и нас с Жоржем и Марией Павловной Софа уговорила поплыть до того же пункта: «Поплывём! Там в буфете бутерброды с икрой, шампанское!.. Мы только туда и обратно!» А вот назад-то и не получилось — узнали об этом уже в пути. Ох и разозлился Жорж на Софу! В лёгких платьях и рубашках чуть не заledenели, пока добрались через весь Краснокамск от пристани до железнодорожного вокзала, где и расположились до утра по лавкам. А Мария Павловна всю ночь не спала — берегла котлеты, оказавшиеся у неё в сумке, обращая на себя внимание «проходимцев», которые, как ей казалось, интересуются именно ими. Наконец под утро голос в рупоре заорал, что отправляется товарный состав до Перми. И, спотыкаясь, через пень-колоду, полетели старый и малый к товарняку, едва успев забраться на подножку. Только неугомонная Софочка пела «Марш энтузиастов», пока нас обдувало ветерком.

Жорж увлекает меня в опасное плавание. Он-то знает, что даётся Плывающим. «Ну, сегодня я богат — продал

три этюда. Кутим!» На нём бархатная куртка-разлетайка с чёрным бантом посередине, за плечом — этюдник. Жорж подшофе, и вот тут-то раскрывается: «Я так любил Женечку в юности, если бы ты только знала! Посылал ей письма с Дальнего Востока, когда служил в армии, а она не отвечала. Никогда не отвечала. И так вся жизнь разлетелась... Не знаю, что и делать. Там — два сына, жена, а сердце — с вами!» «Вряд ли и сейчас она любит Жоржа... — думаю я. — Разве так бывает — не любила, не любила, а потом взяла да и полюбила». Да где мне всё это понять! Видятся они только при мне, и путешествуем вместе, и у каждого своя жизнь...

Кажется, у меня появился новый друг — Павлик. Мы вместе учимся в музыкальной школе. С ним есть о чём поговорить, он даже пишет повесть «Мальчик из Косовилихи». И, спускаясь по весенней дамбе, мой товарищ провожает меня до дому. Поднимаемся по лестнице и заходим в комнату. Подходим к пианино, на котором стоит портрет мамы в юности, написанный Жоржем. Ей он не нравится — говорит, что совсем не похожа: «Какая-то царица Тамара, которая из башни всех своих женихов бросала в Терек». «Беба, откуда у тебя этот портрет?» — спрашивает Павлик. «Это моя мама, — спокойно отвечаю я, — в молодости. А нарисовал её художник Жорж...» «...Мой папа», — продолжает Павлик. Вот оно что!

Так и дружили мы вместе, долго-долго: ездили в Курью, справляли дни рождения и другие праздники, разговаривали о самых дорогих и интересных вещах, и в комнате нашей поселились картины Жоржа. Одну из них — «Сосну» — он подарил в память об окончании школы. Сосна рассказала мне о той девочке, которой я тогда себя не признавала.

Дружба скрасила годы безотцовщины и, может быть, хоть как-то согрела сердце мамы. Жорж так и не расстался со своей семьёй, да и Женя никогда об этом не просила. И Разгуляя того не стало. Как Китеж, лежит его царство на дне моей души — подойду, загляну в ту глубину, где затаилось звонкое время, и, не оглядываясь, зашагаю вперёд — мимо разрушенных домов и стылых переулков с осевшей в них «малиной». Даже моя «Сосна» куда-то делась, остались только стихи...

Я — сосна. Я — огонь и ветер.
Я страдаю, как юный Вертер.
И мазками Ада и Рая
В венах кровь моя набухает.

Я — сосна. Над моей вершиной
Бьётся небо жилою синей.
Я — змея. Я багровым жалом
Кисть художника искусала.

Я — сосна. Я на каждый случай,
Как клыки, выставляю сучья,
Но к началу лунного мрака
Янтарём начинаю плакать.

Я — сосна. Я — орган Вселенной.
На губах выступает пена.
Я страницы Ада и Рая
В кроне звёздной переливаю.

Пермь, 2003 год

Из воспоминаний

«У «Лукоморья» — дуб зелёный»

Мой путь к вершинам мировой литературы изначально пролегал от Бориса Гашева к Надежде Пермяковой. В подвальчик на улице Карла Маркса, где располагалась в то время редакция газеты «Молодая гвардия», заглянула Чеширская кошка. Сначала появилась улыбка, а потом красный берет. Берет был немислимый — так говорили все. Когда я вязала его в больнице, где лечила гайморит и из моего носа торчали «усы» (через них его регулярно промывали), смущаясь и не принимая ухаживания взрослых пациентов, на вопрос: «Что вы вяжете? Юбку?», я отвечала: «Берет», приводя любопытствующих в недоумение.

За одним столом сидел корреспондент газеты Борис Владимирович Гашев, через стёкла очков поблёскивали его пронзительно-ироничные глаза. «Смотри, как она улыбается!» — обращался он к коллеге, Лидии Витальевне Тихомировой, мерцающей напротив.

Мои стихи взяли в книжку «Сами о себе», вышедшую в 65-м году, задолго до «Оляпки». Составителю сборника Л. Тихомировой удалось склотить неплохую компанию

деток вне клеток. Так явилась на свет продолговатая цветная книжица, включающая стихи, рассказы и рисунки пионеров и школьников Пермской области. Сборник похвалили в газете «Звезда», напечатав рецензию известного в Перми филолога Р. Файна, отметившего и моё творчество.

Неожиданная публикация не столько обрадовала, сколько озадачила родственников, уже определивших мой дальнейший путь в качестве пианистки. Почувствовав опасность, исходящую от возможного восхождения на Парнас, со мной провели несколько популярных бесед, «Самое страшное — дилетантство!» — строго сказал профессор Аркадий Лаврович Фенелонов, усадив автора в главное кресло своего кабинета.

О, как всё было бы замечательно в перспективе: музыкальное училище, консерватория, сольные концерты, цветы, аплодисменты, гастроли... И запасной вариант: музыкальная школа, с утра до вечера крутые разбеги гамм, фальшивые и чистые ноты, милые пересуды учителей музыки, интеллигентные ученики, признательные родители... Поэзия обрушилась на все мечты с тяжестью дамоклова меча.

К несчастью, ещё и стрелы Амура поразили юное сердце, и я начала выдавать стихи почти как Блок в пору «Снежной маски» — по семь в день.

Дорожка в «дом чекистов», где находилось в ту пору Пермское книжное издательство, была помечена. «Ну, пойдём в коридор!» — говорила редактор Н. Н. Гашева, выхватывая на ходу из пачки папироску. Читая тетрадь с виршами, она комментировала, стараясь при этом приободрить неуверенного в успехе автора: «Это неплохо, это хорошо, какая метафора!» И далее: «Плохая рифма — глагол с глаголом не рифмуются, а это вообще салон!»

Что такое салон, я представляла в те времена в двух вариантах. В первом, толстовском, — салон Анны Павловны Шерер, а во втором, покруче, — по старым дореволюционным открыткам из запасов дедушкиных сестер Сони, Нюты, Муси, Раи, на которых сообразительные фотографии сохранили образы скульптур и живописных полотен, выставившихся в Парижском салоне. Ни к тому, ни к другому варианту эти представления не подходили. И вообще, моё знание о том, «что такое хорошо и что такое плохо» в литературе, было далеко до совершенства. Достаточно вспомнить, что в те времена я ещё путала «лево» и «право».

Блуждание по гребешкам поэтических волн живо напоминало одну из картин жизни на даче в Голованово, в гостях у тётки Рашели и Аркадия Лавровича, куда меня заживо отправляли на один месяц. Ни я, ни родственники больше выдержать не могли. Аркадию Лавровичу, впервые увлечшему юное дарование на рыбалку, вскоре пришлось убедиться в том, что он совершил опрометчивый поступок.

Растянув спиннинг, рыбак, полный надежд, приказал грести. На речку Васильевку надвигалась гроза. «Самое время для щук!» — дребезжащим от волнения голосом произнёс профессор. И не ошибся! Ключуло! «Греби, Бебка, быстрее!» — азартно крикнул он. Налегая во всю мочь на вёсла, я чуть не врезалась в берег. «Куда?! Правой, правой, правой, теперь левой!» Но меня заклинило. Не спасли бы ситуацию и представления о «сене» и «солеме». И некогда было объяснить, какой рукой я ем. Азартному рыбаку всё-таки удалось, поднатужившись, выдернуть щуку. От сочувствия и страха она обделалась.

Но Надежда Николаевна Гашева отличалась терпеливостью. В планах издательства, подаренных мне на память, над анонсами сборников «Молодой человек», «Современники», «Княженика» сохранились милые сердцу надписи, сделанные рукой редактора: «И непременно — Б. Зиф».

Нет, я не подвела Надю! Помня об ответственности, строчила стихи, упиваясь восторгом от собственного совершенства, пламенела, выступая на сборищах в поэтическом клубе «Лукоморье», открывшемся в шестидесятые годы в Доме журналистов, постепенно обрастая единомышленниками, друзьями и, потихоньку, недругами.

«Лукоморье», приютившее нас, с его открытым микрофоном, о котором позаботился секретарь Союза писателей Лев Иванович Давыдычев, собирало поэтов «хороших и разных». Москвичей: журналиста Юлиана Надеждина, эмгэушника и остряка, корреспондента газеты «Вечерняя Пермь»; Семёна Ваксмана, выпускника института имени Губкина, геолога-нефтяника, уже набравшего опыта полевой жизни и копавшего в глубину (он впервые прочитал мне и Анне Бердичевской «Август» Бориса Пастернака).

Бывал здесь хитроглазый геолог, друг Семёна, Валерий Бакшут, постоянно бредивший во сне какой-то рыжей девочкой; сознающий свою избранность и напоминавший Христа Леонид Юзифович, ещё не перешедший на прозу; неустойчивая и надрывная Наталья Чебыкина (Крон), осенённая крылом первозданной природы Урала; простосердечная и застенчивая Нина Чернец со своим льющимся и открытым пространством души и жизнью, отягчённой бытом и постоянной нехваткой денег, что, впрочем, касалось многих из нас.

Как-то заглянула из Свердловска Нина Субботина, серьёзный филолог и поэтесса, ещё не имевшая ни одной публикации и смотревшая на нас снизу вверх. Всё происходящее ей очень понравилось.

Позднее влилась и Анна Бердичевская, похожая одновременно на юнгу с корабля дальнего плавания, юного Наполеона (только повыше ростом) и одетую Венеру Милоскую. Она была чрезвычайно румяна, полнокровна и сочетала в себе к тому времени качества фотографа-любителя, художника-оформителя и студентки-заочницы, учась на математическом факультете госуниверситета.

Пробился к микрофону и поэт Михаил Стригалёв, издавший позднее поэтический сборник «Хмель». У него, как у гугенота, носки ботинок загибались вверх. Вероятно, не только это раздражало острословов, писавших на музу Михася постоянные пародии.

В те годы, подобно неведомым и желанным островам, открывалась поэзия Виктора Болотова и Алексея Решетова, «которым тогда не позволили стать известными», как написала через много лет в журнале «Юность» Н. Н. Гашева.

Редко заглядывал поэт-лирик Николай Кинёв, живущий в далёком Суксуне и впоследствии создавший прекрасную деревенскую прозу. В сороковом году наши мамы работали в санатории «Ключи», откуда он был родом.

Приезжал из глубокой Мотовилихи поэт Михаил Смоудинов, поэму которого «Горький мёд» позднее похвалил Виктор Астафьев в своей рецензии на сборник «Современники», зато остальных авторов разнёс вдребезги.

Очень редко заглядывал сюда Борис Гашев — один из самых блистательных, ироничных и потаённых поэтов Перми.

Заходил мэтр поэтического цеха Владимир Ильич Радкевич, создавший в своей поэзии официальный и вместе с тем магически притягательный образ Урала. В «Литературной энциклопедии» его имя — рядом с Радищевым.

Вышеперечисленные представители «новой крови» несли бродильное начало, и на них с любопытством и опаской оглядывались корифеи цеха писателей. Нужно было спешить: хрущёвская оттепель уже примораживалась. И мы не жалели себя.

Страдая от страшной простуды, я всё-таки явилась на первый телевизионный конкурс «Юное дарование», проходивший под эгидой обкома ВЛКСМ, и заняла достойное место в рядах его победителей, одновременно вылечив сильный насморк под жаркими лучами студийных софитов. Альманах журнала «Юность» и пластинку Владимира Софроницкого, зятя композитора Скрябина, вручил каждому из нас Семён Самуилович Гурвиц — врач-психиатр, приехавший из Москвы и осевший на время в Перми. Он стал центром притяжения молодых филологических умов госуниверситета.

Семён Самуилович ходил по Перми, как сомнамбула, и постоянно искал спички и сигареты, причём не всегда в тех местах, где они должны были находиться. Гурвиц имел литературный псевдоним Гравин и вёл поэтический семинар при книжном издательстве, хотя писал прозу (перечитать бы его «Пушкинский год»!). Лично мне он открыл поэтов Великой Отечественной войны, полюбившихся на всю жизнь: Гудзенко, Межирова, Левитанского, Самойлова. На своих семинарах, рецензируя стихи молодых авторов, он «разносил» их по составленному графику. За это я тайно полюбила Гурвица и посвятила ему стихи на библейскую тему:

Подобно Соломону и выше Соломона
Царишь ты в Иудее на сочных островах.—
Я раскрываю веки и открываю губы,
Я про себя жалею, что я не Суламифь.

Но моя лирика не растопила сердце критика. Красавица-жена и два прекрасных сына никогда бы ему этого не простили. И вообще, Гурвицу больше импонировала Анна Бердичевская. Впрочем, я всё время увлекалась без всяких видимых последствий. Маме, дезориентируя её, ежедневно докладывали, что утром меня видели с «белокурым бестием», а вечером — с «чернокудрым фурием». Виноваты в этом были Музы.

В то время в музыкальном училище, где я числилась на первом курсе фортепианного отделения, шёл перманентный ремонт. Потеря вслед друг за другом двух пар часов, ремешки которых при игре стягивали сухожилия, произошла от рассеянности, вызванной, несомненно, усугубившимся влиянием поэзии.

Впрочем, неприятности начались гораздо раньше, когда любимый преподаватель музыки Светлана Константиновна Глушкова, игриво потрепав меня по щеке, в предпоследнем классе музыкальной школы сообщила, что я лодырь. Сознавала ли она тогда, ставя мне «кол» за неправильные пальцы в этюде Черни — Гермера, на что меня толкает?

В музучилище, где преподавала С. К. после окончания института имени Гнесиных, фортуна окончательно повернулась боком, определив меня к другому педагогу. Будучи серьёзной пианисткой, что было главным её преимуществом, она, увы, не занималась своей внешностью и сидела на уроках в затрапезном сарафане и сморщенных простых чулках в резинку. Эстетическое чувство молодого

го поэта было ущемлено. К тому же мне предлагалось разучить пьесу Цезаря Кюи, самого маломощного композитора из «Могучей кучки».

Куда интереснее были выступления в книжных магазинах, где перепадали в качестве поощрения Пастернак в коричневом переплёте, Экзюпери с крохотным портретом внутри суперобложки, и даже Евтушенко! Правда, тогда я еще советовалась с подвернувшимся под руку в книжном магазине Валерием Бакшутковым, что же всё-таки купить: двухтомник Щипачёва или двухтомник Тютчева.

В то время на телевидении появлялись «изюминки»... Чего только стоила телепередача Володи Виниченко «Человек придумал песню»! В студии собрались поэты-песенники и те, чей творческий диапазон был гораздо шире. После песни Лёни Юзефовича «Пятая стража» я набралась смелости и решила попеть. Музыку на мои стихи написала Лена Литвина, позднее закончившая композиторское отделение Свердловской консерватории и защитившая на моих восьмистишиях дипломную работу.

«Весенняя сказка» в авторском исполнении повергла в шок маму и тётю Мусю, сидевших дома у телевизора. Слава Неждановой и Барсовой мне не грозила! Зато погрозил пальцем кто-то из операторов — я без всякого злого умысла давала понять сидящим рядом в студии, что вот их-то сейчас и показывают, чем порождала ненужные телодвижения объектов съёмки. Будущность творчества в то время меня не волновала. Однако журналист Боря Зеленин, уезжавший работать в Братск и вернувшийся назад, привёз «Весеннюю сказку» в народной обработке.

Позднее, уже в семидесятые годы, я написала песенки к спектаклю «Шельменко-денщик» по пьесе украинского писателя Квитко-Основьяненко, поставленному на

сцене областного драматического театра. Смешные заставки перед «картинами» исполняли два артиста-гитариста. Пьеса долго и весело шла на сцене театра, но моего имени на афише не значилось — в противном случае театру пришлось бы платить авторский гонорар за каждый спектакль!

Далекая от богемной жизни поэтов и прозаиков, я, вместе с тем, любила своих новых друзей и частенько встречалась с ними исключительно за чайными поэтическими откровениями.

Будучи инертной и малоинициативной, я постоянно подвергалась нападкам со стороны Анны Бердичевской, тащившей меня в разные интересные места: на Новый год — к Бакшутковым, куда мы ехали на пожарной машине, боясь опоздать, или на Бахаревский аэродром — прыгнуть с парашютом, поддавшись на уговоры её брата Серёжи, гения непредсказуемости. (На самом-то деле я, конечно, никогда с парашютом не прыгала.)

В то время мне открывались и новые картины жизни: день рождения у Нины Чернец, нищета, ее муж, который вместо того, чтобы купить жене подарок, решил повеситься, а мы, вместо того, чтобы праздновать, вытаскивали его из петли и ругали. На следующий день пришлось нести в букинистический магазин любимый альбом «Дрезденская галерея», а деньги после его продажи отдать Нине.

Подвыпившая, не понятая средой, Наташа Чебыкина вытаскивала меня на рельсы, ведущие к Бахаревке, и говорила: «Уйдёшь — брошусь под поезд!» Как закланная овечка, я была наивна, чиста душой, всем стремилась помочь и свободно делилась своими впечатлениями от узванного и познанного. Этим пользовались, а могли и отвернуться.

В то время я ходила по городу в зелёном плаще и безразмерных американских красных чулках, присланных папой из Риги, вызывая нездоровый интерес, в том числе и членов Союза писателей. Лев Иванович Давыдычев, идущий сзади, забежал вперед, чтобы заглянуть в лицо: не ошибся ли? «Балда ты, Белка!» — говорила Анна Бердичевская, которая уже в ту пору была гораздо рассудительнее меня. Она рисовала мне на память замечательные смешные картинки про нашу общую жизнь и посвящала стихи.

В принципе, всё было не так уж плохо, и успех просто шёл по пятам. В рекламном проспекте газеты «Молодая гвардия» в 66-м году сообщалось, что «такие поэты, как А. Решетов, В. Широков, С. Ваксман, В. Болотов, В. Нестерова, Б. Зиф, Н. Чернец, Н. Кинёв, были открыты именно ею».

Получив подобный аванс, я просто не могла не оказаться в составе агитбригады, сформированной обкомом комсомола с единственной целью — увеличить число подписчиков газеты «Молодая гвардия». С журналистом Борей Зелениным, кавээнщиком Юрой Говоровским и шофёром, окрещённым за нерасторопность «корягой», мы отправились в нескучное путешествие по просторам родного Прикамья.

Меня ждали дальняя дорога и козырный интерес.

Избиение младенцев

Правы, тысячу раз правы были Нюта, Соня, Муся, Рая, пытавшиеся охладить мой пыл! Казённый интерес не заставил себя долго ждать.

Название книги — «Княженика», — из-за которого разгорелся сыр-бор, придумала Наташа Чебыкина, а Боря Гашев достал информацию о редкой ягоде из анналов. И была это не какая-нибудь «развесистая клюква», а ягода-княжна, самая сочная и самая алая! Всё остальное сложила, как песню, Надя Гашева — десять поэтесс, десять путешествий в неведомое, десять судеб!

Какие всё-таки мы были разные! Чистосердечная Нина Чернец, бурная Анна Бердичевская, задумчивая Ирина Христолюбова, говорливая Марина Лебедева, сосредоточенная Нина Аверина, буйная Наташа Чебыкина, экспансивная Нина Субботина, безоблачная Валерия Ситникова и, наконец, сама составитель сборника — из комсомольской юности. У меня было самое большое преимущество — возраст.

«Так когда же выйдет ваш журнал мод?» — спрашивал, шутя, Давыдычев. Вероятно, этот вопрос был оправдан. Каждая из нас действительно позировала фотографу Эдуарду Котлякову на фоне деревьев Горьковского сада. У кого-то из моделей была видна только голова, у кого-то — бюст в целом, кому-то посчастливилось запечатлеться во всеоружии. Лишь одна Надя Гашева зависла в пространстве с папиросой в руке — наверное, читала кому-то стихи.

Наконец-то вышла наша «Княженика»! Мы были счастливы: собирались стайками, гуляли по весенней Перми, шли на Каму, выступали на презентациях книги. У меня была самая большая по объёму публикация — аж целая поэма «Сентябрь», написанная на одном дыхании: об Урале, о моей счастливой и вместе с тем безнадежной любви, о музыке, о мире, к которому я начала присматриваться. Владимир Радкевич, однажды встретив меня на улице,

сказал: «Твоя тема — Урал». Как оказалось позднее, он был прав.

В те годы, будучи в неведении, я даже не догадывалась о крутых разборках, устроенных «старыми русскими» со всеми, кто имел хоть какое-то отношение к изданию сборника. Хотя мне и раньше показывали гневные статьи, проливающие свет на то, чем на самом деле занимаются и куда держат путь молодые поэты. Грозная статья Виктора Петровича Астафьева «Под одной крышей», опубликованная в 66-м году в газете «Звезда», после выхода в свет поэтического сборника «Современники» (22 поэта), казалось бы, должна была отрезвить редактора и авторов.

Кстати, писатель был прав в своих рассуждениях о том, что необходима серьёзная работа над поэтическим словом — этому молодых поэтов нужно было учить. Но тон статьи был слишком резок по отношению к нам, незрячим котяткам, которым хотелось ещё пожить.

Добавила пороха и статья «Селявисты и жизнь» критика Б. Марьева из Свердловска, опубликованная в журнале «Урал», по поводу выхода того же пресловутого издания, не оставляющая надежды начинающим, живущим поэзией и готовым преодолеть издержки возраста.

Подобное стремление проучить, а не научить, выбросить, а не дать возможность развиваться, не столько помогало, сколько убивало нас. Заканчивалась хрущёвская оттепель, закручивались гайки.

К тому времени поспела и «Княженика», вышедшая годом позже «Современников». На нее-то и обрушилась заказная статья журналиста А. Черкасова «Претензия в суперобложке», опубликованная в газете «Звезда». Как и прежние публикации по поводу сборников молодых авто-

ров, она отличалась сверхкритичным злобным тоном, включающим всякие возражения. Ни у одной из нас, десяти поэтесс, кос уже не было, но быть подстриженными «под ноль» мы не хотели. Это в полной мере касалось и меня, имеющей богатый опыт жизни на свободе.

При поверхностном осмотре книги кому-то не понравилась Надя Гашева с сигаретой в руке. Это и в самом деле было лихо! Но когда уполномоченные добрались до содержания... тут уж не поздоровилось всем. Вызванные в кабинет директора книжного издательства К. В. Латохина, мы не совсем понимали, что же случилось. «Как вы объясните это стихотворение?» — Константин Васильевич начал искать глазами Нину Чернец и процитировал:

Плыву и сердцу больно,
да не во сне, всерьёз —
такая воля вольная,
до горяшка, до слёз.

Нина не пришла, за неё ответила другая Нина — Субботина: «Речь идёт о любви!» «А вот в Комитете по печати считают по-другому!» — продолжил он. Впрочем, его можно было понять: ситуация грозила снятием с должности. Стало тоскливо.

Когда после обсуждения мы с Ниной спустились вниз по улице Карла Маркса и завернули за пединститут, нас обрызгала проходящая машина. «Получила самый большой гонорар, а хочешь, чтобы не ругали?» — спросила моя спутница, и мы засмеялись: молодость брала своё.

Кстати, 25 рублей из этого гонорара — по тем временам большая сумма, особенно для студентки, — в прямом смысле этого слова улетели в водосточную трубу из моей ладони, когда я приехала в Москву «наводить мосты» в Литературный институт.

Но это были ещё цветочки! Каково же было моё удивление, когда, вернувшись из столицы, я заглянула в Пермское книжное издательство. Все, попадающие мне навстречу, начинали медленно падать в углы: «Доверчивый последователь» пришёл! — воскликнула Надя Гашева. — Ты что, ещё ничего не знаешь? Купи «Литературную газету»!»

Ситуация прояснилась на главпочтамте, где я, развернув «Литературку», наконец врубилась в доклад известного поэта-лирика Василия Фёдорова, сделанный на IV Всесоюзном съезде Союза писателей.

Оказалось, что мне присвоен вполне почетный титул «доверчивого последователя». Пафосное определение относилось к моим мнимым контактам с пятым томом «Литературной энциклопедии», по мысли автора, весьма туманно объясняющей смысл одного из языковых терминов «тропа», жизненно необходимого каждому поэту, и особенно начинающему. Разгневанный докладчик никак не мог простить составителям энциклопедии столь беззаботного отношения к пребывающим в неведении авторам. В доказательство он цитировал меня!

От восьмистишия, опубликованного за год до съезда в коллективном сборнике «Современник», вышедшем годом раньше «Княженики», осталась только первая строфа:

Любое слово поделив на части,
Найду конец, основу и удел.
Могу на слово сесть и покачаться,
Когда весёлый ветер прилетел.

Не вызывало сомнений, что кто-то с тайным умыслом подсунил Фёдорову эту книгу, изданную в провинции. Наступило время борьбы с засилием женщин в поэзии, явно «снижающих уровень её развития». Кроме

того, речь шла о серьёзной общенародной тревоге, об отношении к Слову. (Предполагаю, насколько бы у докладчика прибавилось забот сегодня!) Ну как тут и в самом деле не посетовать... Евгению Евтушенко можно было «прикрепить стихотворение на ветку», а поэтессе из далёкой Перми, решившей немного побаловаться, это строго воспрещалось!

Ах, зачем только я, пребывая в хорошем расположении духа, в свои 17 лет совершила столь опрометчивый поступок! Но ведь речь о нём шла только в первой строфе! Зато справедливость восторжествовала во второй, восстанавливающей гармонию взаимосвязей слова, человека и мира:

Прости меня за словолюбование,
Но сочетание слов звучит порой,
Как рук и губ одно согласованье,
Как рек и гор объединённый строй.

Однако она не понадобилась — не подходила для главного тезиса доклада: «Как можно качаться на словах?» В слове, как говорилось в докладе, «заключена духовная энергия народа». С этим трудно было не согласиться...

Подобно чеховскому герою из рассказа «Радость», попала я под оглобли Съезда писателей, не понимая, что это начало конца краткого поэтического взлета.

Повод для ликования всё-таки был! В докладе Василия Фёдорова досталось не только мне. Всеу были упомянуты Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина и почему-то Роман Солнцев. Но надо отдать должное демократичному филфаку! О, как меня поздравляли преподаватели! С завистью заглядывали в аудиторию студенты, спрашивая: «Это у вас учится Бэла Зиф?»

Писатели, побывавшие на съезде, — Владимир Радкевич и два Льва — Давыдычев и Правдин — веселились: «К нам подходили и спрашивали: «А нет ли ещё чего-нибудь почитать у неё?» По-видимому, интересующиеся представляли меня зрелой женщиной! Мэтры советовали: «Надо делать книгу». Да где там! «А он и пикнуть не успел, как на него медведь напал».

Позднее появилась должность старшего редактора отдела художественной литературы, место которого занял осевший в Перми писатель Иван Лепин. Всегда глядя мимо меня, он советовал Наде Гашевой, когда я приносила очередную подборку стихов: «Побеседуй с ней...» Разговор не получался. Впрочем, всё это было в контексте времени...

Я ещё попыталась поступить в Литературный институт: хлопотала Наташа Чебыкина — возила подборки стихов, показывала, передала на конкурс. «Ты знаешь, очень заинтересовался Лев Ошанин. Сказал — поэзия музыкальная, образная, есть свой голос. Может получиться хороший поэт-песенник». Приехав в Москву по зову одного выдающегося художника, проявлявшего ко мне в те годы благосклонность, я читала стихи его представителем знакомым, имеющим отношение к Комитету по делам печати, которые честно посоветовали мне ехать домой, в родную Пермь, и не мучаться. Годом раньше началась агрессия Израиля против арабских стран, к которой я, несомненно, имела самое прямое отношение.

Кто знает? А может быть, и к лучшему, что всё так получилось? Только судьба искривилась. Ко мне приклеили ярлык, а потом говорили: «Да, была! Да, что-то писала! Но ведь больше не печатают!»

Тогда я ещё не понимала, что заставить людей измениться нельзя. Но теперь знаю, что можно поставить перед фактом.

Пуп Перми

Дом ученых — «дворянское гнездо», как его именовали в народе, — имел свойство уравниваться двумя крыльями, расположенными вдоль Компроса. В нем жили университетские начальники и умы. Уравнивался он и своей противоположностью — психбольницей, находившейся во дворе, — местом постоянных прогулок подрастающего поколения научных работников. Крылья дома время от времени соединялись то в творческом полете, а то и в битвах за социальную справедливость, но это оставалось за рамками жизни пермского обывателя.

Вообще, дом был какой-то не такой изначально, так как при распределении квартир его разделили не поперек, а вдоль.

С «солнечной» стороной, выходявшей окнами во двор, было все в порядке, а вот вторая, выглядывающая на Компрос, напоминала полигон. Особенно сотрясались башни, расположенные по краям дома. Каждая квартира в отдельности представляла собой небезопасный лабиринт, полный всевозможных препятствий: замысловатые прихожие, черные ходы, ведущие во двор (исключительно по ним должны были носить мусор!), темные комнаты без окон (для предполагаемой прислуги), кладовки, впечатанные в стены коридоров таким образом, что при потребности обитателей извлечь что-либо из них, они непременно травмировались, и, наконец, комнаты, без всякой логики переходившие друг в друга.

Под нашей квартирой располагались апартаменты доцента сельхозинститута Вострокнутова, человека с говорящей фамилией. Было в нем что-то от чеховского городского. Его всегда распаренное лицо создавало ощущение, что он только что вышел из бани, почему-то в плохом настроении, и непременно желает разобраться со всеми, кто и в дальнейшем может его испортить. Мой муж Сашка — младший сын доцента экономиста Исаака Самойловича Сандлера, — напуская в ванну пара, оседающего всемирным потоком, топил Вострокнутова «по-чёрному». Сосед не сумел сориентироваться вовремя, и тем самым был обречен. Когда несколько лет тому назад пела и плясала наша свадьба, он в разгар пира возопил по телефону: «Это долго будет продолжаться?!». «Всегда!» — ответил Сашка.

Временами дом испытывал нашествия. В нашу квартиру снизу из квартиры профессора Максимовича заползали огромные жуки, объевшиеся его библиотечными книжками о карстах... Вдова профессора Танаевского жаловалась всем соседям, что ее укусили мухи, прилетевшие из Китая... Из окна подъезда я любила смотреть, как по дорожке, идущей от магазина, вдоль дома шел философ Владимир Васильевич Воловинский, к которому я испытывала нежные чувства. Его глаза никогда не пытались проследить за тем, что происходит под ногами. Подобно «Летучему голландцу», легко справляясь с гребнями и пропастями ледяных гор, он казался почти невесомым, с традиционным пирамидальным пакетом молока в руке. «Упадет, — думала я, — точно ударится лбом». Этого не происходило. Воловинский доходил до подъезда. Однажды, проявив сердобольность, я угостила его из ладошки клюквой в сахаре. Он взял.

В этом доме у жены Владимира Васильевича, обожаемой филфаком Риммы Васильевны Коминой, пропадали книги из домашней библиотеки. «Может быть, кому-нибудь пригодится...» — даже не вздыхая, говорила она.

Как-то в дверь знаменитого физика профессора Шапошникова позвонила цыганка и попросила воды. Профессор, недавно вернувшийся из Англии, не мог отказать прелестной Земфире. Пока он любезно ходил за стаканом, она удачно извлекла валюту из его кабинета и прихватила еще кое-что из милых пустяков.

В подъезде царил лифтерша с подозрительным взглядом. Прозрев однажды, с криком: «Не парик?!», она вцепилась в мои волосы и сразу успокоилась.

В противоположном крыле жила семья Кертманов. Филолог от Бога, дочь блистательного историка Льва Ефимовича Кертмана, Лина спрашивала меня абсолютно серьезно: «Как ты думаешь, кто съел сосиску: я или Герка?» (она имела в виду своего брата).

Линина мама — профессор филологического факультета Сара Яковлевна Фрадкина — внешне напоминала мне актрису в роли леди Макбет из одноименного фильма-спектакля. Улыбнувшись, она сразу гасила улыбку, что вовсе не означало отсутствия расположения к собеседнику.

Всегда подтянута, блистательна и непревзойденно остра была Нина Евгеньевна Васильева, невольная участница Кубинской революции, обучавшая русскому языку внуков Пассионарии по просьбе Фиделя Кастро, с которой он обратился к Хрущёву. Студентки филфака с нетерпением ждали возможности лицезреть её новые яркие вязаные кофточки, в которых доцент Васильева приходила на лекцию.

Но никто не мог превзойти ее мужа, Женю Тамарченко, настоящего супермена. О, как ему чистили ботинки на Компросе! Нога ставилась на ящик, мускулы самбиста напрягались и продолжали играть, огонь сыпался из его божественно прекрасных глаз, он просто попирал и пинал пространство!

Из уст в уста передавалась легенда о разборке в кафе «Уют», называемом в просторечии «Утюг», непосредственно связанная с Тамарченко. Как-то раз, после очередной тренировки, Женя и его друзья-самбисты несколько засиделись. Сначала их просил покинуть зал метрдотель, а потом и народные дружинники. Ребята не захотели внять голосу общественности. Один из дружинников, взыскуя, озадачил нашего героя: «А ты, жидовская морда, вообще отвали!», после чего имел счастье близко познакомиться с урной, в которую Женя отправил его головой вниз.

Неразрывное целое пришлось определить в больницу, где урну раскололи, вытаскивая содержимое. Кандидат филологических наук бил наотмашь и наверняка. «Ну что, мужик, жаловаться будешь или как?» — спросил он у пострадавшего. И обошлось!

В «дворянском гнезде» я прожила счастливое время забавной, бестолковой юности и легкомысленного замужества. Дом обладал странным свойством: стоило ночью зажечь свет, приходили гости. Физик Саша Рабинович с женой Раей — посмотреть хоккей по телевизору, Надя Гашева — за велосипедом, Анна Бердичевская — от каких-нибудь общих знакомых повидаться и утром непременно увлечь меня в водоворот жизни, ничего общего не имеющий с моим браком. Тонкий поэт Витя Болотов, оглядывая вдруг ставшим сермяжным взглядом

высоту потолков, задавался вопросом: «А вас это не давит?»

Помнится, как-то раздался звонок в дверь. Открывши ее, я пришла в смятение — на пороге стоял смертельно пьяный поэт Владимир Радкевич. Мы виделись иногда в газете «Молодая гвардия», и в каком бы состоянии он ни был, всегда повторял: «У тебя глаза, как сливы по три пятьдесят». «Неужели ко мне? С чего бы это?» Оказалось, он перепутал звонки. Радкевич рвался к вдове второго ректора университета Александре Прокопьевне Букиревой, с которой у нас была общая прихожая. Как выяснилось позднее, у нее всегда была заготовлена безразмерная бутылочка. К ней-то по необходимости и прикладывался поэт-лирик, воспевший любимого ректора в стихах. Вряд ли Владимир Ильич узнал меня, хотя совсем недавно мы оказались спутниками после очередного заседания поэтического клуба «Лукоморье». Находясь в привычном состоянии и озабоченный проблемой, как бы и где бы продолжить, он очень точно послал идущую рядом со мной поэтессу Наташу Чебыкину, «отрывавшуюся» на рыбалке и на охоте — «в затон», а меня, витающую в музыкально-поэтических сферах, — «к протемперированному Баху».

Остроумию и остроумию Радкевича не было конца. Его непревзойденные сатиры на пермских чиновников высших рангов открыто ходили по городу и надрывали животы всем, кто имел счастье ознакомиться с «куплетами». Для меня же было важно одно свойство — он мог узнать тебя независимо от того, удобно ему это или неудобно в определенных обстоятельствах.

Дети «дворянского гнезда» не дрались, они с пиететом относились друг к другу и безоговорочно принимали в свой

круг новых пришельцев. Когда в доме открылся магазин «Чай», приехавший из Москвы поэт-геолог Сеня Ваксман размечтался: «Будут музыку играть, индийскую, китайскую, грузинскую». А я добавила: «И краснодарскую!».

Кто знает, может быть, когда-нибудь я напишу оду «дворянскому гнезду»...

Пермь, 2003 год

Герои повести имели реальные прототипы, впрочем, их судьбы порой не совпадали.

Перо Жар-птицы	5
Часть 1. Я побегу в те сосны	8
Над Даугавой	8
На улице Философской	15
Рыбный день	19
Потомки Ильича	22
Картины и картинки	24
«Я побегу в те сосны»	32
Расставание	38
Часть 2. Перекрёстки	48
Ленина, 52	48
Корни	55
Дом на Набережной	64
Невесты Вульфа Петровича	76
На углу	79
Ленина, 81а	82
Будни и праздники	94
В лодке	102
Часть 3. Разгуляй	107
Времена года	107
Разгуляйские тайны	114
Ленина, 7	121
Дары Лапшиных	127
Над логом	132
Кукуштан	136
Играйте, девочки!	144
Пожар	151
Из воспоминаний	159
«У «Лукоморья» — дуб зелёный»	159
Избиение младенцев	168
Пуп Перми	175

Бэла Лазаревна Зиф

ПРОВИНЦИЯ

Зиф Б. Л.

З 65 Провинция: Повесть. Из воспоминаний.— Издательско-полиграфический комплекс «Звезда», 2004.— 208 с.: ил. 24 с.

ISBN 5-88187-233-9

Книга Бэлы Зиф «Провинция» по своему жанру относится к художественной мемуаристике. Ее действие начинается в послевоенной Латвии, где с родителями, бывшими фронтовиками, живет героиня повести Бибка и откуда она навсегда уезжает на Урал и поселяется в семье родственников — династии старых пермских врачей, преданных своему делу и гражданскому долгу. Незнакомое для девочки пространство постепенно становится близким и любимым. В нем она учится улавливать тонкие связи природы и искусства, формируется как поэт и как личность, способная оценить наследственный дар — историю семьи и историю города, слившихся воедино.

В книге возникает большой временной срез: картины жизни дореволюционной и послереволюционной России, ее «провинций», среди которых особенно значимое место принадлежит Перми. Повествование насыщено разнообразием и глубиной бытовых и психологических характеристик, яркими образами, экспрессивными полотнами, рисующими смену времен года, меняющегося во времени городского ландшафта, незабываемыми судьбами героев, свершившимися на камских берегах.

Книга читается на одном дыхании. Она представляет интерес с художественной, исторической и краеведческой точек зрения и предназначена широкому кругу читателей.

На обложке:

Фрагмент картины датского художника Карла Ларссона «Двор и прачечная» (Брита с санками).

ББК 84(2Рос=Рус) 6—4

В книге использованы фотографии из личного архива автора.

Дизайн — **И. Мингалева.**
Верстка, корректура, печать — ИПК «Звезда».

Подписано в печать 04.11.04. Формат 60×84¹/₁₆.
Бумага ВХИ. Гарнитура «Школьная». Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,23+вкл.
Тираж 1000 экз. Заказ № 1877.

Издательско-полиграфический комплекс «Звезда».
614990, г. Пермь, ГСП-131, ул. Дружбы, 34.



*Прибалтика и Пермь удвоили детство.
Город на Каме стал увеличительным
стеклом, сквозь которое все видится
отчетливее.*

Б Зидф